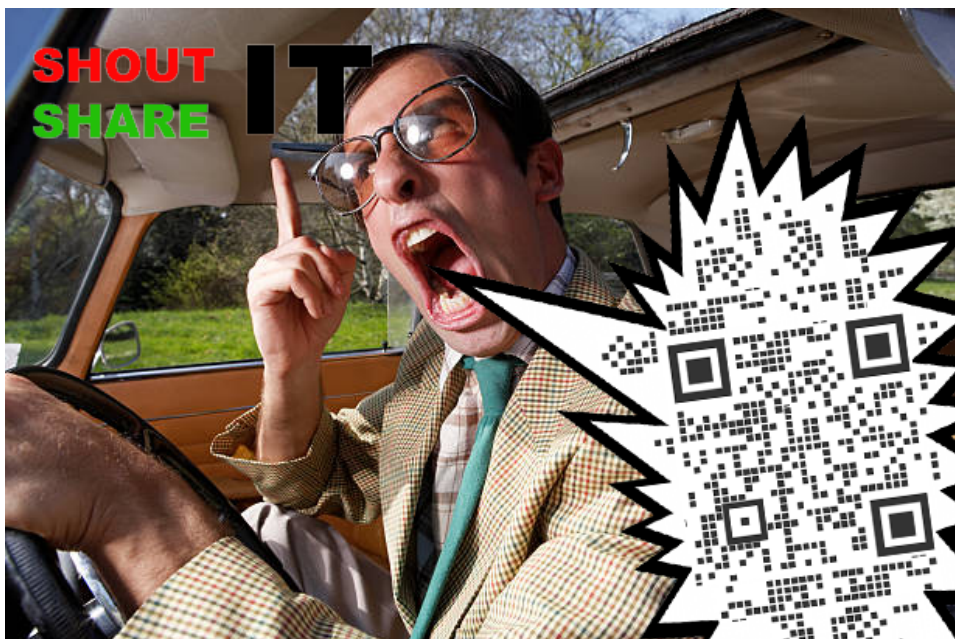


Владимир Гиляровский

Москва газетная





Annotation

Владимира Алексеевича Гиляровского, известного журналиста и писателя, знала вся Москва – извозчики, торговцы, полицейские, журналисты, писатели, художники – перечислять можно долго. Но и он знал Москву, как никто другой. Его жизнь богата событиями и встречами, в ней было все – лишения, невзгоды, преодоления, взлеты, его книги «Мои скитания» и «Москва газетная» стали классикой мемуарного жанра.

- Владимир Гиляровский
 - ☐ Редакторы
 - ☐ «Русские ведомости»
 - ☐ «Русская газета»
 - ☐ «Современные известия»
 - ☐ «Московский телеграф»
 - ☐ «Русский курьер»
 - ☐ «Новости дня»
 - ☐ «Московский листок»
 - ☐ Казенные газеты
 - ☐ Цензура и цензоры
 - ☐ «Зритель»
 - ☐ «Будильник»
 - ☐ «Развлечение»
 - ☐ «Русский листок»
 - ☐ «Курьер»
 - ☐ «Детское чтение»
 - ☐ «Русская мысль»
 - ☐ «Русское слово»
 - ☐ Атаман Буря и Пиковая дама
 - ☐ «Нижегородское обалдение»
 - ☐ «Россия»
 - ☐ Нечто о старом
 - ☐ Вместо эпилога
- notes
 - ☐ 1
 - ☐ 2
 - ☐ 3
 - ☐ 4
 - ☐ 5

Владимир Гиляровский
Москва газетная

Редакторы

В начале моей литературной работы в Москве прочных старых газет было только две. Это «Московские ведомости» – казенный правительственный орган, и либеральные «Русские ведомости». Это были два полюса.

Таковы же были и два московских толстых журнала – «Русский вестник», издававшийся редактором «Московских ведомостей» М.Н. Катковым, и «Русская мысль» В.М. Лаврова, близкая к «Русским ведомостям». А потом ряд второстепенных изданий.

Оглядываясь на свое прошлое теперь, через много лет, я ищу: какая самая яркая бытовая, чисто московская фигура среди московских редакторов газет конца прошлого века? Редактор «Московских ведомостей» М.Н. Катков? – Вечная тема для либеральных остряков, убежденный слуга правительства. Сменивший его С.А. Петровский? – О нем только говорили как о счастливом игроке на бирже.

И.С. Аксаков – редактор «Руси». Не популярен со своим славянофильским журналом.

В.М. Соболевский – «Русские ведомости» – был популярен только между читателями этой газеты – профессорами, земцами, молодыми судейскими и либеральными думцами. Но вся Москва его не знала.

Н.П. Гиляров-Платонов – ученый, был неведом для публики, ибо он никогда не выходил из своего кабинета, а некрупная популярность его «Современных известий» была создана только обличителем-фельетонистом.

П.Н. Ланин – прекрасный заводчик шипучих искусственных минеральных вод и никчемный редактор либерально-шипучего «Русского курьера», совсем не принятого Москвой.

Об остальных изданиях и говорить не приходится: уж очень незаметны они были.

Среди этого вырисовывается благодаря своей бытовой яркости и неповторимости только одна фигура создателя «Московского листка» Н.И. Пастухова, который говорил о себе:

– Я сам себе предок!

Только единственная яркая бытовая фигура: безграмотный редактор на фоне такой же безграмотной Москвы, понявшей и полюбившей человека, умевшего говорить на ее языке.

Безграмотный редактор приучил читать свою безграмотную газету, приохотил к чтению охотнорядца, извозчика. Он – единственная бытовая фигура в газетном мире, выходец из

народа, на котором теперь, издали, невольно останавливается глаз на фоне газет того времени.

Издали виднее: через три года по выходе «Московского листка» Н.И. Пастухов печатал сорок тысяч экземпляров газеты.

У полуторастолетних «Московских ведомостей», у газеты политической, к которой прислушивалась Европа, в это время выходило четыре тысячи номеров, из которых больше половины обязательных подписчиков. «Русских ведомостей» в этот же год печаталось меньше десяти тысяч, а издавались они в Москве уже двадцать лет.

«Московские ведомости» были правительственной газетой, обеспеченной обязательными казенными объявлениями, которые давали огромный доход арендатору их, но расходились они около трех-четырёх тысяч, и это было выгодно издателю, потому что каждый лишний подписчик является убытком: печать и бумага дороже стоили.

Газету выписывали только учреждения и некоторые отставные сановники, а частных подписчиков у нее никогда почти не было, да и было тогда не модно, даже неприлично, читать «Московские ведомости». На редактора газеты М.Н. Каткова либеральные газеты и петербургские юмористические журналы, где цензура была насчет его слабее, положительно «вешали собак» за его ретроградство.

Так, Д.Д. Минаев напечатал в сборнике своих стихов следующее:

С толпой журнальных кунаков
Своим изданием, без сомненья,
В России заменил Катков
С успехом третье отделение.
В доносах грязных изловчась,
Он, если очень злобой дышит,
Свою статью прочтет подчас
И на себя донос напишет.

Из московских изданий позволяли себе полемизировать с М.Н. Катковым только «Русские ведомости» да иногда «Русский курьер» в первые три года издания, пока его редактировал В.А. Гольцев.

В московских юмористических журналах: «Будильнике», «Развлечении», а особенно в «Зрителе» – цензура вычеркивала всякое упоминание о М.Н. Каткове.

Помню, в 1882 году я дал четверостишие для «Будильника» по поводу памятника Пушкину: на Тверском бульваре, по одну

сторону памятника жил обер-полицмейстер генерал Козлов, а по другую, тоже почти рядом, помещались «Московские ведомости» и квартира М.Н. Каткова:

...Как? Пушкин умер? Это вздор.
Он жив! Он только снова
Отдан под надзор
Каткова и Козлова.

Редакция «Будильника» четверостишие даже и в набор не сдала. М.Н. Катков был священной особой для московского цензурного комитета, потому что все цензоры были воспитанниками Каткова и сотрудничали в «Московских ведомостях», чем были сильны и неприкосновенны. Их, как древних жрецов, писатели и журналисты редко лицезрели.

Первая встреча с сотрудником «Московских ведомостей» и одновременно цензором останется для меня навсегда незабвенной. На какой-то большой пирушке у Н.И. Пастухова, после обеда, за кофе с ликерами, я сидел рядом с сумским гусаром Н.П. Пашенным, совсем юношей, лихим наездником и лихим спортсменом, впоследствии знаменитым драматическим актером Роциным-Инсаровым.

Подле него, красавца в полном смысле слова, поместился низенького роста неуклюжий рыжебородый человек в черном мешковатом сюртуке и, тыкая пальцем веснушчатой, покрытой рыжими волосами руки в грудь Н.П. Пашенного, ему что-то проповедовал.

Это был цензор Сергей Иванович Соколов, бывший семинарист, личный секретарь М.Н. Каткова.

– Вот эта рука десять лет работает под руководством самого Михаила Никифоровича Каткова.

Н.П. Пашенный, продолжая сидеть, ловким взмахом вольтижера положил свою ногу, в малиновых рейтузах и сапогах со шпорами, сверх руки С.И. Соколова, прижавши ее к столу, и, хлопая по колену, сказал:

– А эта нога три года работает под руководством полковника Клюге фон Клюгенау – первого наездника русской армии.

Горько заплакал личный секретарь М.Н. Каткова, цензор и постоянный сотрудник «Московских ведомостей». Потом дело кончилось миром.

Кроме своей газеты и «Московского листка», благодаря старому знакомству с Н.И. Пастуховым, цензор С.И. Соколов все остальные газеты считал вредными, а сотрудников их – врагами отечества.

Эта сцена мне памятна потому, что в тот вечер я воочию увидел первого сотрудника «Московских ведомостей» и первого живого цензора. Да и негде было видеть сотрудников «Московских ведомостей» – они как-то жили своей жизнью, не знались с сотрудниками других газет, и только один из них, театральный рецензент С.В. Флеров (Васильев), изящный и скромный, являлся на всех премьерах театров, но он ни по наружности, ни по взглядам, ни по статьям не был похож на своих соратников по изданию, «птенцов гнезда Каткова» со Страстного бульвара. Самого же М.Н. Каткова я так ни разу в жизни не видал. Он умер в 1887 году. После него стал редактором Петровский, очень друживший с супругами Витте и, кажется, больше интересовавшийся биржей, падением и повышением бумаг, чем газетой и политикой.

Газета помещалась на углу Большой Дмитровки и Страстного бульвара и печаталась в огромной университетской типографии, в которой дела шли блестяще, была даже школа наборщиков.

Первый «студенческий бунт» был вызван «Московскими ведомостями». До того времени Москва этого слова не знала и не слыхала. Если и бывали студенческие беспорядки, всегда академического характера, то они происходили только в стенах университета. Первые беспорядки, прогремевшие в Москве, были вызваны новым уставом, уничтожившим профессорскую автономию и удвоившим плату за слушание лекций, что оттесняло бедноту от слушания лекций, а тут, вслед за уставом, грянул циркуляр о введении обязательной для каждого студента новой формы: мундиры со шпагой, сюртуки, тужурки и пальто со светлыми гербовыми пуговицами и синими выпушками – бедноте не по карману!

Осенью 1884 года запылали студенческие беспорядки, подогреты еще рядом статей в защиту правительства и обычными доносами «Московских ведомостей».

Под влиянием всего этого студенческие беспорядки в первый раз вырвались на улицу.

На сходке студенты постановили устроить демонстрацию газете. К семи часам вечера студенты кучками неожиданно с разных сторон пришли на Страстной бульвар и устроили грандиозный кошачий концерт перед окнами квартиры редактора М.Н. Каткова с разбитием в них стекол. Явилась полиция и конный жандармский дивизион. Это был в Москве первый случай такого выступления конных жандармов. Жандармы с нагайками носились по бульвару и обоим проездам, разгоняя демонстрацию. Попадало всякому – и студенту и нестуденту. Били кого попало и как попало. На мостовой валялись избитые в кровь. Жандармов

сбивали с лошадей, и лошади носились без всадников.

Как сейчас помню высокого студента-кавказца, когда он вырвал жандарма из седла, вмиг очутился верхом и ускакал. На помощь жандармам примчалась сотня 1-го Донского казачьего полка, выстроилась поперек проездов и бульвара и, не шелохнувшись, стояла, а жандармы успели окружить толпу человек в двести, которую казаки и конвоировали до Бутырской тюрьмы.

В газетах на другой день появились казенные заметки, что студенты пошумели на Страстном бульваре и полтора из них было забрано и отведено в Бутырки.

Позднее во время всяких студенческих беспорядков обязательно хоть пару стекол разбивали в «Московских ведомостях», а в Татьянин день повторялись перед редакцией кошачьи концерты мирного характера.

«Русские ведомости»!

– Наша профессорская газета, – называла ее либеральная интеллигенция.

– Крамольники! – шипели черносотенцы.

– Орган революционеров, – определил департамент полиции.

Газета имела своего определенного читателя. Коренная Москва, любившая легкое чтение и уголовную хронику, не читала ее.

Первый номер этой газеты вышел 3 сентября 1863 года. Подписка 3 рубля в год, три номера в неделю.

Основал ее писатель Н.Ф. Павлов и начал печатать в своей типографии в доме Клевезаль, против Мясницкой части. Секретарем редакции был Н.С. Скворцов, к которому, после смерти Павлова, в 1864 году перешла газета, – и сразу стала в оппозицию «Московским ведомостям» М.Н. Каткова и П.М. Леонтьева.

В газете появились: Н. Щепкин, Н. Киселев, П. Самарин, А. Кошелев, Д. Шумахер, Н. Кетчер, М. Демидов, В. Кашкадамов и С. Гончаров, брат жены Пушкина. Это были либеральные гласные Городской думы, давшие своим появлением тон газете навсегда. Полемика с Катковым и Леонтьевым закончилась дуэлью между С.Н. Гончаровым и П.М. Леонтьевым в Петровском парке, причем оба вышли из-под выстрелов невредимыми, и в передовой статье «Русских ведомостей» было об этом случае напечатано:

«Судьбе было угодно, чтобы первое боевое крещение молодой газеты было вызвано горячей защитой новых учреждений общественного самоуправления и сопровождалось формулировкой с ее стороны высоких требований самой печати: свобода слова, сила знания, возвышенная идея и либеральная чистота. Вот путь, которым должна идти газета».

Н.С. Скворцов сумел привлечь лучшие литературные силы. Вошли в число постоянных сотрудников А.И. Урусов, впоследствии знаменитый адвокат, А.И. Чупров, В.М. Соболевский, А.С. Постников, А.П. Лукин, М.А. Саблин, В.С. Пагануцци, И.И. Янжул, Б.Н. Чичерин, И.К. Бабст, М.А. Воронов, А.И. Левитов, Г.И. Успенский.

Газета держала тот тон, который дала небольшая группа, спаянная общностью политических убеждений и научно-социальных взглядов, группа сотрудников газеты, бывших в 1873 году на Гейдельбергском съезде.

Разные люди перебивали за полувековую жизнь газеты, но

газета осталась в руках той группы молодых ученых, которые случайно одновременно были за границей, в 1873 году, и собрались на съезд в Гейдельберг для обсуждения вопроса – что нужно делать?

И постановлено было на съезде добиваться конституции как пути для демократического и социального обновления страны. В числе участников этого съезда были А.И. Чупров, А.С. Постников и В.М. Соболевский^[1], молодые приват-доценты, с студенчества своего сотрудники «Русских ведомостей», которые, вернувшись из Гейдельберга, выработали программу газеты по решениям съезда. Она была отпечатана на правах рукописи, роздана сотрудникам и неукоснительно применялась. В конце 70-х годов примкнули к газете П.Д. Боборыкин, С.Н. Южаков, С.А. Муромцев, М.М. Ковалевский, В.А. Гольцев и писатели-народники Н.Н. Златовратский и Ф.Д. Нефедов, а затем Д.Н. Анучин, П.И. Бларамберг, Г.А. Джаншиев, С.Ф. Фортунатов.

С 1868 года газета стала ежедневной без предварительной цензуры, а с 1871 года увеличилась в размере и подписка была 7 рублей в год.

Редакция и типография помещались тогда в доме Делонэ в Никольском переулке на Арбате.

Если я позволил себе привести это прошлое газеты, то только для того, чтобы показать, что «Русские ведомости» с самого рождения своего были идейной газетой, а не случайным коммерческим или рекламным предприятием. Они являлись противовесом казенным правительственным «Московским ведомостям».

После смерти редактора Н.С. Скворцова, талантливого и идейного журналиста, материальное состояние газеты было затруднительным. В.М. Соболевский, ставший фактическим владельцем газеты, предложил всем своим ближайшим сотрудникам образовать товарищество для продолжения издания. Его предложение приняли десять человек, которые и явились учредителями издательского паевого товарищества «Русских ведомостей».

В состав учредителей вошли вместе с В.М. Соболевским его товарищи по выработке основной программы газеты – А.С. Постников и А.И. Чупров, затем три ближайших помощника его по ведению дела в конце 70-х и начале 80-х годов – Д.Н. Анучин, П.И. Бларамберг и В.Ю. Скалон и еще пять постоянных сотрудников – М.Е. Богданов, Г.А. Джаншиев, А.П. Лукин, В.С. Пагануцци и М.А. Саблин.

Составилась работоспособная редакция, а средств для

издания было мало. Откликнулся на поддержку идейной газеты крупный железнодорожник В.К. фон Мекк и дал необходимую крупную сумму. Успех издания рос. Начали приглашаться лучшие силы русской литературы, и 80-е годы можно считать самым блестящим временем газеты, с каждым днем все больше и больше завоевывавшей успех. Действительно, газета составлялась великолепно и оживилась свежестью информации, на что прежде мало обращалось внимания.

Я был приглашен для оживления московского отдела газеты. Сразу мне предложили настолько хорошие условия, что я, будучи обеспечен, мог все силы отдать излюбленному мной живому репортерскому делу.

Редакция тогда помещалась в доме Мецгера, в Юшковом переулке на Мясницкой, – как раз в том доме, на котором переламинается этот искривленный переулок. В фасадном корпусе, в бельэтаже – редакция, а в надворном, фабричного вида, – типография со штатом прекрасных наборщиков под руководством уважаемых и любимых всеми метранпажей А.О. Кононова и И.П. Яковлева.

Вход в редакцию через подъезд со двора, по шикарной лестнице, в первый раз на меня, не издававшего редакций, кроме ютившихся по переулкам, каковы были в других московских изданиях, произвел приятное впечатление сразу, а самая редакция – еще больше. Это была большая, светлая, с высокими окнами комната, с рядом столов, покрытых зеленым сукном, с книжными шкафами, с уложенными в порядке на столах газетами. Тишина полная. Разговор тихий.

Первый, кого я увидел, был А.Е. Крепов, переводчик с иностранного, старичок в очках, наклонившийся над какой-то французской газетой, в которой делал отметки карандашом. Когда-то простой наборщик, он самообразовался, изучил языки и сделался сотрудником. За другим столом театральный критик, с шикарной бородой, в золотых очках, профессорского вида, Н.М. Городецкий писал рецензию о вчерашнем спектакле, а за средним столом кроил газеты полный и розовый А.П. Лукин, фельетонист и заведующий московским отделом, в помощники к которому я предназначался и от которого получил приглашение.

Рядом с А.П. Лукиным писал судебный отчет Н.В. Юнгфер, с которым я не раз уже встречался в зале суда на крупных процессах. Около него писал хроникер, дававший важнейшие известия по Москве и место которого занял я: редакция никак не могла ему простить, что он доставил подробное описание освящения храма Спасителя ровно за год раньше его освящения, которое было напечатано и возбудило насмешки над газетой.

Прямо против двери на темном фоне дорогих гладких обоев висел единственный большой портрет Н.С. Скворцова.

А.П. Лукин встретил меня, и мы прошли в кабинет к фактическому владельцу газеты В.М. Соболевскому, сидевшему за огромным письменным столом с массой газет и рукописей. Перед столом – такой же портрет Н.С. Скворцова. Кожаная дорогая мебель, тяжелые шторы, на столе подсвечник с шестью свечами под зеленым абажуром. В.М. Соболевский любил работать при свечах. В других комнатах стояли керосиновые лампы с зелеными абажурами.

И тишина, тишина...

По другую сторону стола сидел В.С. Пагануцци, необыкновенно толстый, добродушного вида, и читал рукопись. Переговорили об условиях с Соболевским, и потом, когда Лукин ушел, Пагануцци взглянул на часы и сказал, подавая рукопись:

– Можно сдавать в набор!

В.М. Соболевский позвонил и передал ее вошедшему мальчику:

– В набор!

В.С. Пагануцци еще раз вынул часы и показал:

– Уже час!

– Да, пожалуй, пора! – И Соболевский обратился ко мне:

– Владимир Алексеевич, не откажитесь с нами позавтракать.

Каждое хорошее дело надо начинать с хлеба-соли.

Мы вышли через другую дверь, миновав редакцию, и В.М. Соболевский сказал швейцару:

– Я вернусь к трем часам.

Мы поехали в ресторан Тестова, или, как говорилось в Москве, «к Тестову», – я вдвоем с Соболевским, а Пагануцци полностью занял у извозчика убогую пролетку, у которой даже рессоры погнулись и колесо визжало о железо крыла.

От Тестова мы вышли полными друзьями, и я с той минуты всего себя отдал «Русским ведомостям».

* * *

Вскоре товарищество приобрело в Чернышевском переулке свой дом – бывшего городского головы князя В.А. Черкасского, который был ему поднесен в дар москвичами. Дом этот находился против теперь еще существующего дома Станкевича. Пришлось сделать большие перестройки, возвести новые корпуса. В 1886 году редакция перешла в это новое, специально приспособленное помещение. От старого, кроме корпуса,

выходящего на улицу, был оставлен крошечный флигелек, уступленный М.А. Саблину, куда он и перевел статистическое отделение при канцелярии генерал-губернатора, заведующим которого он состоял.

С новой типографией увеличился формат газеты, номера стали выпускаться в 6 и 8 страниц.

Ни одна газета не вынесла столько кар и преследований со стороны цензуры, сколько вынесли «Русские ведомости». Они начались с 1870 года воспрещением розничной продажи, что повторилось в 1871 и 1873 годах, за что – указаний не было: просто взяли и закрыли розничную продажу.

В 1873 году 4 декабря предостережение «Русские ведомости» получили за то, что они «заключают в себе крайне, в циничной форме, враждебное сопоставление различных классов населения и, в частности, оскорбительное отношение к дворянскому сословию». И ежегодно шли кары, иногда по несколько раз в год.

Это продолжалось до конца прошлого столетия. 1901 год открылся приостановкой газеты за нарушение циркуляра, запрещавшего печатать отчеты о процессах против чинов полиции, а «Русские ведомости» напечатали отчет о случившемся в судебной палате в Тамбове деле о полицейском приставе, обвинявшемся в насильственном освидетельствовании сельской учительницы.

В 1905 году было приостановлено издание с 22 декабря по 1 января 1906 года за то, что «редакция газеты „Русские ведомости“ во время мятежного движения, еще не кончившегося в Москве и в других городах, явно поддерживала его, собирала открыто значительные пожертвования в пользу разных забастовочных комитетов, политических ссыльных, борцов за свободу и пр.». Дальше шли конфискации номеров, штрафы по несколько раз в год по разным поводам; штрафы сменялись конфискациями и привлечениями к суду. Таковых наказаний в один только 1912 год редакцию постигло двенадцать раз, а за 1912—1913 годы наказаний было тридцать. Придирались и правящие круги и мелкота. Во время «княжения» в Москве «хозяина столицы» В.А. Долгорукова у него был чиновник, начальник секретного отделения, П.М. Хотинский. Он, чтобы выслужиться перед начальством, поставил себе в обязанность прославлять Долгорукова, для чего просто податливым газетам он приказывал писать, что ему надо было, а в «Русских ведомостях» состоял даже корреспондентом, стараясь заслужить милость этого единственного непокорного издания.

«Русские ведомости» раз жестоко его подкузьмили «по ошибке корректора». Когда В.А. Долгоруков ездил по ближайшим

городам, то Хотинский из каждого города телеграфировал во все газеты о торжественных встречах, устраиваемых «хозяину столицы». Насколько эти встречи были торжественны, я лично не видал, но в газетах описания были удивительные. Однажды во всех московских газетах появляется большая телеграмма из Тулы о торжественной встрече. Тут и «ура», и народ «шпалерами», и «шапки вверх». Во всех газетах совершенно одинаково, а в «Русских ведомостях» оказалась напечатанной лишняя строка: «о чем, по приказанию его сиятельства, честь имею вам сообщить. Хотинский».

В телеграммах в другие газеты эта строка была предусмотрительно вычеркнута. «Русские ведомости» и секретное отделение с Хотинским во главе сделали врагами. Хотинский более уже не сотрудничал в газете.

Редакция в Чернышевском переулке помещалась в бельэтаже дома В.А. Черкасского, вход с улицы, общий с конторой. Шикарно, но не было той интимности особняка, что была в Юшковом переулке. Здесь было несомненно удобнее, но официально как-то, холодком веяло. В Юшковом переулке было уютно, проще и симпатичнее. Здесь по каждому отделу свой особый кабинет по обе стороны коридора, затем большой кабинет редактора и огромная редакционная приемная, где перед громадными, во все стены, библиотечными шкафами стоял двухсаженный зеленый стол, на одном конце которого заседал уже начавший стариться фельетонист А.П. Лукин, у окна – неизменный А.Е. Крепов, а у другого секретарь редакции, молодой брюнет в очках, В.А. Розенберг принимал посетителей. Он только что поступил в редакцию. Для вящей торжественности А.П. Лукин над книжным шкафом, как раз против себя, водрузил большой гипсовый бюст Зевса, найденный при перестройке на чердаке дома...

А.П. Лукин, кроме своих, имевших иногда успех, фельетонов в «Русских ведомостях», под псевдонимом «Скромный наблюдатель», был еще московским фельетонистом петербургских «Новостей» Нотовича и подписывался римской цифрой XII.

Псевдоним очень остроумный и правдивый, так как в фельетонах участвовало несколько человек, а Лукин собирал весь этот материал в фельетон, который выходил в Петербурге по субботам. Не знаю, как платил Нотович, но я от Лукина получал 5 копеек за строчку и много зарабатывал, так как чуть не ежедневно давал заметки, которые нельзя было печатать в Москве, а в «Новостях» они проходили.

Репортером по заседаниям Городской думы и земства был Ф.Н. Митропольский. Немало университетской молодежи обслуживало ученые общества, давало отчеты по ученым собраниям, а я вел происшествия и командировки.

В типографии нас звали: Митропольского – «недвижимое имущество „Русских ведомостей“, а меня – „летучий репортер“. Оба эти прозвания были придуманы наборщиками, нашими друзьями, так как, приходя поздно ночью, с экстренными новостями, мы писали их не в редакции, а в типографии или корректорской, отрывая каждые десять строк, чтобы не задержать набор.

Действительно, приходилось быть летучим, конкурируя с оставленным мною «Московским листком», где было все основано на репортаже.

Приходилось носиться по Москве. Телефонов тогда не было, резиновых шин тоже, извозчики – на клячах, а конка и того хуже.

Я мог бегать неутомимо, а быстро ездил только на пожарном обозе, что было мне разрешено брандмайором, полковником С.А. Потехиным, карточку которого с надписью берегу до сего времени: «Корреспонденту В.А. Гиляровскому разрешаю ездить на пожарном обозе». Кроме меня, этим же правом в Москве пользовался еще один человек – это корреспондент «Московского листка», поступивший после меня, А.А. Брайковский, специальность которого была только отчеты о пожарах.

А.А. Брайковский поселился рядом с пожарным депо на Пречистенке и провел к себе в квартиру, через форточку, звонок прямо с каланчи, звонивший одновременно с пожарным звонком, который давал команде часовой при каждом, даже маленьком пожаре.

«Русские ведомости» помещали только сведения о больших пожарах, о которых, по приказанию того же брандмайора, мне приносили повестку из Тверской пожарной команды. Нередко мне приходилось, на ходу встречая мчавшийся обоз, вскакивать на что попало и с грохотом мчаться на пожары. В сыскной полиции у меня был сторож Захар, а в канцелярии обер-полицмейстера был помощник, который сообщал все происшествия из протоколов. На вокзалах имелись служащие и сторожа, которые сообщали о крушениях и о всех происшествиях на железной дороге.

«Русские ведомости», приглашая меня, имели в виду оживить московский отдел, что мне удалось сделать, и я успешно конкурировал с «Московским листком», не пропуская крупных событий. В трущобах, вроде Хитрова рынка, Грачевки и Аржановки, у меня были свои агенты из самых отчаянных бродяг, которые и сообщали свои сенсации. Иногда удавалось доставать

такие сведения уголовного характера, которые и полиция не знала, – а это в те времена ценилось и читалось публикой даже в такой сухой газете, как «Русские ведомости». Не раз полиция и администрация меня тянули, но я всегда счастливо отделялся, потому что мои хитрованцы никогда не лгали мне.

Первое время они только пугали мою молодую жену: стучит в двери этакий саженный оборванный дядя, от которого на версту несет водкой и ночлежкой, и спрашивает меня. С непривычки, конечно, ее сперва жуть брала, а потом привыкла, и никогда ни один из этих корреспондентов меня не подвел. Бывали такие эффектнейшие сведения, которые производили переполох среди властей. Любезность ко мне обитателей притонов даже раз выразилась так: осенью был пожар на Грачевке, на котором я присутствовал. Когда я стал в редакции писать заметку, то хватился часов и цепочки с именным брелоком: в давке и суматохе их стащили у меня. Часы – подарок отца... Ну – украли, так украли.

Каково же было удивление, когда на другой день утром жена, вынимая газеты из ящика у двери, нашла в нем часы с цепочкой, завернутые в бумагу! При часах грамотно написанная записка: «Стырено по ошибке, не знали, что ваши, получите с извинением». А сверху написано: «В.А. Гиляровскому». Тем и кончилось. Может быть, я и встречался где-нибудь с автором этого дела и письма, но никто не намекнул о происшедшем.

Эти молчаливые люди, никогда не говорившие своего имени, нередко, по непонятным для непосвященного причинам, и доставляли мне уголовные сведения.

Помню такой случай: из конторы богатой фирмы Бордевилль украли двадцатипудовый несгораемый шкаф с большими деньгами. Кража, выходящая из ряда обыкновенных: взломали двери и увезли шкаф из Столешникова переулка – самого людного места – в августе месяце среди белого дня. Полицию поставили на ноги, сыскнушка разослала агентов повсюду, дело вел знаменитый в то время следователь по особо важным делам Кейзер, который впоследствии вел расследование событий Ходынки, где нам пришлось опять с ним встретиться.

И никаких результатов!

Прошло три недели – дело замолкло. Выхожу я как-то вечером из дома – я жил в доме Вельтищева, на Б. Никитской, против консерватории, – а у ворот встречает меня известный громила Болдоха, не раз бегавший из Сибири:

– Я к вам, пропишите их, подлецов, в газетах!

И рассказал он мне в подробностях до мелочей всю кражу у Бордевила: как при его главном участии увезли шкаф, отправили

по Рязанской дороге в Егорьевск, оттуда на лошади в Ильинский погост, в Гуслицы, за двенадцать верст от станции по дороге в Запонорье, где еще у разбойника Васьки Чуркина был притон. В кустах взломали шкаф и сбросили его в речку Гуслицу, у моста, в глубокое место под ветлами. Денег там нашлось около пятнадцати тысяч рублей, поделили и поехали обратно, а потом дорогой Болдоху опоили «малинкой», обобрали и сбросили с поезда, думая, что он «готов». Когда же Болдоху, очухавшись, вернулся на Хитров к съемщику ночлежки – капиталисту и организатору крупных разбоев «Золотому», – тот сказал, что ничего знать не знает, что все в поезде были пьяны и не видали, как и куда Болдоху скрылся. Свалился, должно, пьяный с поезда, – а мы знать не знаем!

На следующий день в «Русских ведомостях» я написал подробнейший рассказ Болдоху, с указанием места, где лежит в речке шкаф.

Через день особой повесткой меня вызывают в сыскную полицию. В кабинете сидят помощник начальника капитан Николас и Кейзер. Набросились на меня, пугают судом, арестом, высылкой, допытываются, – а я смеюсь:

– Мои агенты лучше ваших!

Кейзер из себя выходит:

– Если это неправда, мы вас привлечем по статьям!

– Пошлите вы прежде ваших агентов в Гуслицы за шкафом.

– А если его там нет, то вы будете под судом!

Я ушел домой, а через два дня мне сообщили, что сыщик Федот Рудников, ездивший в Гуслицы, привез шкаф, и последний находится взломанный в сыском отделении.

Кейзер приехал в редакцию, но меня не нашел. Уже зимой Болдоху, арестованный на месте другого преступления, указал всех участников. Дело «Золотого» разбиралось в окружном суде и кончилось каторгой.

А Болдоху успел бежать.

Счастливейшее время моей работы было тогда в «Русских ведомостях», которое я вспоминаю с удовольствием. Я был молод, силен, гордился своим положением, дружеским отношением к людям, имена которых незабвенны. Особенно дороги мне 80-е годы (середина), когда я весь отдавался «Русским ведомостям». Какие встречи! Кто-кто не работал в газете! Писали те, о которых даже не догадывались читатели, не воображала цензура. Только мы, очень немногие, далеко даже не все постоянные сотрудники, знали, что работали в газете и П.Л. Лавров, и Н.Г. Чернышевский, поместивший в 1885 году свой первый фельетон за подписью

«Андреев», и другие революционные демократы.

– Кто это Андреев? – спросили М.А. Саблина в цензуре.

– Кто Андреев? Да актер Андреев-Бурлак!

Тем и успокоилось начальство.

Петр Лаврович Лавров подписывал статью одной буквой или совсем не подписывался под некоторыми статьями или «письмами из Лондона».

Так никогда и не узнала об этом сотрудничестве цензура. А узнай она – за одно участие их газета была бы закрыта, да и редакторы угодили бы в ссылку.

Был такой случай: министр Д.А. Толстой потребовал сообщить имя автора какой-то статьи. Ему отвечали отказом, и министр потребовал от московского генерал-губернатора высылки из Москвы редактора В.М. Соболевского; но самолюбивый «хозяин столицы» В.А. Долгоруков, не любивший, чтобы в его дела вмешивался Петербург, заступился за В.М. Соболевского и спас его. А высылка была равносильна закрытию газеты, так как утвержденным редактором тогда был один В.М. Соболевский. Писали в это время также под псевдонимами И.И. Добровольский, Н.В. Чайковский и К.В. Аркацкий (Добренович).

Восьмидесятые годы были расцветом «Русских ведомостей». Тогда в них сотрудничали: М.Е. Салтыков-Щедрин, Глеб Успенский, Н.Н. Златовратский, А.П. Чехов, Д.Н. Мамин-Сибиряк, К.М. Станюкович, А.Н. Плещеев, Н.Е. Каронин, Г.А. Мачтет, Н.К. Михайловский, А.С. Пругавин, Н.М. Астырев, Л.Н. Толстой, статьи по театру писал В.И. Немирович-Данченко.

Какое счастье было для молодого журналиста, кроме ежедневных заметок без подписи, видеть свою подпись, иногда полной фамилией, иногда «В. Г-ский», под фельетонами полосы на две, на три, рядом с корифеями! И какая радость была, что эти корифеи обращали внимание на мои напечатанные в газете фельетоны и хорошо отзывались о них, как, например, М.Е. Салтыков-Щедрин о моем первом рассказе «Человек и собака».

А разве не радость это: в 1886 году я напечатал большой фельетон «Обреченные» (очерк из жизни рабочих на белильных заводах), где в 1873 году я прожил зиму простым рабочим-кубовщиком. В нем я дал полное впечатление каторжной работы на тех заводах, с которых люди не возвращались в жизнь, а погибали от болезней. Это был первый такой очерк из рабочей жизни в русской печати. Никогда не забыть мне беседы в редакции «Русских ведомостей», в кабинете В.М. Соболевского, за чаем, где Н.К. Михайловский и А.И. Чупров говорили, что в России еще не народился пролетариат, а в ответ на это Успенский привел в пример моих только что напечатанных «Обреченных»,

попросил принести номер газеты и заставил меня прочитать вслух. А потом меня долго расспрашивали о подробностях, и Глеб Иванович остался победителем.

С этого дня мы подружились вплотную с Глебом Ивановичем, и он стал бывать у меня.

Такие же отношения установились с А.П. Чеховым, Д.Н. Маминым-Сибиряком, В.А. Гольцевым – дружеское «ты» и полная откровенность.

Работая в «Русских ведомостях», мне приходилось встречаться с иностранцами, посещавшими редакцию. Так, после возвращения из Сибири Джорджа Кеннана, автора знаменитой книги «Сибирь и каторга», в которой он познакомил весь мир с ужасами политической ссылки, редакция поручила мне показать ему московские трущобы.

Пришлось мне встретить и возвращавшихся из Сибири американских корреспондентов Гарбера и Шютце, привезших из тундры прах полярного исследователя де Лонга.

В 1879 году редактор «Нью-Йорк Геральда» Бернет снарядил экспедицию к Северному полюсу под начальством капитана де Лонга на паровой яхте «Жаннета». К северу от Берингова пролива яхта была раздавлена льдами.

Узнав о гибели «Жаннеты», американское правительство послало пароход «Роджерс» для отыскания экипажа «Жаннеты», но «Роджерс» в ноябре 1881 года сгорел в Ледовитом океане.

Вскоре после пожара «Роджерса» была послана Бернетом новая экспедиция, которую возглавляли лейтенанты Гарбер и Шютце. Они должны были отыскать следы лейтенанта Чиппа с его экипажем.

– Завтра утром надеюсь вас видеть на Рязанском вокзале! – этими словами остановил меня на Мясницкой американский консул Джон Смит, прирожденный москвич.

Гляжу на него во все глаза и ничего не понимаю. Он вынул из кармана телеграмму. Читаю: «Завтра скорым. Гарбер, Шютце».

– Завтра все узнаете. Со скорым прибывает прах де Лонга и матросов, погибших на «Жаннете».

На другой день Джон Смит по выходе из вагона представил меня прибывшим, и через час мы завтракали в «Славянском базаре».

Огромное впечатление произвел на меня рассказ о гибели экипажа «Жаннеты» среди льдов и вод, над которыми через пятьдесят лет мчали по воздуху советские героини-летчицы челюскинцев и спасли сто одного человека с корабля, раздавленного льдами.

Гарбер и Шютце подробно рассказали о своем путешествии за

поисками трупов товарищей и показали карты, рисунки и фотографии тех мест Севера, где они побывали.

Оба лейтенанта были еще молодые люди. Гарбер среднего роста, а Шютце выше среднего, плотного телосложения, показывающего чрезвычайно большую физическую силу. Лица у обоих были свежими, энергичными. Во время своего двухлетнего путешествия они чувствовали себя совершенно здоровыми, и только Шютце жаловался на легкий ревматизм, полученный в Якутске.

– В двадцати верстах от берега Ледовитого моря, – рассказывали Гарбер и Шютце, – при впадении западного рукава Лены, была метеорологическая русская станция Сагастир, где по временам жили доктор Бунге и астроном Вагнер, с двумя казаками и тремя солдатами, для метеорологических наблюдений. Кроме этого, по восточному и западному рукавам были разбросаны на громадных расстояниях между собой несколько тунгусских зимовок, из которых главнейшей считалась находящаяся на самой Лене, до деления ее на рукава, тунгусская деревня Булом, отстоящая на расстояние 1400 верст от Якутска.

От Булома и до самого Ледовитого океана тянется страшная тундра. Зимой эта тундра представляет собой гладкую снеговую поверхность, а летом – необозримое болото, кое-где покрытое мелким березовым кустарником.

Когда пароход «Жаннета», затертый льдом, утонул в Ледовитом океане, за сто верст выше устья Лены, де Лонг с экипажем отправился южнее по льду и верстах в тридцати от берега пересел на три лодки, из которых одной командовал сам, другой инженер Мельвиль, а третьей лейтенант Чипп. Вследствие бури лодки были разделены друг от друга, растались; Мельвиль попал в восточный рукав и благополучно достиг Якутска, Чипп с экипажем пропал без вести, а де Лонг, имевший карту устьев Лены с обозначением только трех рукавов, которыми она впадает в океан, ошибочно попал в одну из глухих речек, которая шла параллельно северному рукаву Лены и терялась в тундре.

Если бы де Лонг проплыл на лодке несколько верст западнее и попал в северный рукав, он был бы спасен, так как, поднимаясь вверх, достиг бы тунгусских деревень.

Поднявшись по глухой речке, де Лонг добрался до верховья ее, где нашел брошенную тунгусскую землянку, и, обессиленный, остался отдыхать с экипажем, а двоих матросов, Норосса и Ниндермана, отрядил на поиски жилых тунгусских стоянок, так как, найдя забытую землянку, предположил, что есть близко и селение.

Долго шли смельчаки Норосс и Ниндерман по снеговой тундре, без всякой надежды встретить кого-нибудь, и уже обрекли себя на гибель. Однако близ восточного рукава Лены встретили ехавшего на оленях тунгуса, направлявшегося к югу, который взял их с собой и привез в Северный Булом.

Это спасло смельчаков, хотя встреча была случайной. На такой дикий север тунгусы никогда не заходили зимой, а на этот раз встретившийся матросам и спасший их тунгус был послан старостой селения Булом к устью восточного рукава Лены, где летом забыли пешни, употребляемые для прокола льда во время ловли рыбы.

В Буломе матросам встретился ссыльный Кузьма Ермилов – человек довольно образованный, объяснившийся с матросами по-немецки, и передал им, что месяц назад здесь прошел Мельвиль с экипажем и отправился в Якутск.

Кузьма Ермилов съездил в Якутск и привез Мельвиля, который вместе с матросами отправился разыскивать де Лонга, но безуспешно.

В тундре были страшные бураны. Только на следующее лето Мельвиль, перезимовавший в Якутске, отправился с Ниндерманом и Нороссом на поиски и нашел тела товарищей близ той самой землянки, откуда матросы ушли на разведку. Тела были собраны Мельвилем и похоронены на каменном кургане, единственном возвышении в тундре. На кургане был воздвигнут большой деревянный крест с именами погибших.

Я видел рисунок этой могилы, сделанный г. Шютце: посреди голой тундры стоит высокий курган из дикого камня, на нем возвышается огромный крест, обложенный снизу почти на сажень от земли несколькими сотнями крупного булыжника.

Гарбер и Шютце на маленькой шхуне в сопровождении шести русских матросов, переводчика, сибирского казака Петра Калинкина и офицера Ганта, спасшегося со сгоревшего парохода «Роджерс» и добравшегося до Якутска, отправились на поиски Чиппа.

На десятый день они добрались до Булома, где к ним присоединился Кузьма Ермилов, и отправились дальше.

В продолжение всего лета, захватив часть осени, пешком и на шхуне путешественники обошли, не забыв ни одного протока, ни одного самого глухого местечка, всю дельту Лены и весь берег океана.

В ноябре они, измученные, усталые, отдыхали десять дней на метеорологической станции Сагастир, потом прожили несколько дней в пустой забытой зимовке тунгусов «Китах», затем, еще раз побывав на занесенной снегом могиле товарищей, погребенных

Мельвилем, отправились в Якутск и сообщили о неудачных поисках экипажа лейтенанта Чиппа.

Из Нью-Йорка было получено приказание привезти тела де Лонга и его товарищей в Америку, что и было сделано лейтенантами Гарбером и Шютце. Ими же был привезен и дневник де Лонга, который вел он до самой своей смерти в пустынной тундре.

Последние строки этого дневника такие: «Наш завтрак состоял из пол-ложки глицерина и куска сапога. Один бог знает, что будет с нами дальше...», и еще: «...съеден последний кусок сапога...» Жизнь автора кончилась с этими строками.

Оба лейтенанта были приняты и чествуемы редакцией «Русских ведомостей». Я показал им Москву, проводил их на вокзал и по их просьбе некоторое время посылал через них корреспонденции в «Нью-Йорк Геральд», которые там и печатались.

В 1892 году мне пришлось невольно сделаться безвестным корреспондентом английской газеты. Я был командирован редакцией на холеру в Донскую область, где болезнь свирепствовала с ужасающей силой. Холера была мне не в новинку. Еще в 1871 году, когда я шел в бурлацкой лямке, немало мы схоронили в прибрежных песках Волги умерших рядом с нами товарищей, бурлаков, а придя в Рыбинск и работая конец лета на пристани, в артели крючников, которые умирали тут же, среди нас, на берегу десятками и трупы которых по ночам отвозили в переполненных лодках хоронить на песчаный остров, – я немало повидал холерных ужасов. Вот почему я и принял эту командировку не задумываясь. Мне уже пришлось до поездки в Донскую область этим летом видеть холеру в Нижнем, во время ярмарки, и очень оригинальную с ней борьбу. Губернатором был тогда старый моряк генерал Н.М. Баранов, мужчина серьезный и уж очень энергичный. Когда разыгралась во время ярмарки холера всюю, он самолично метался всюду и распоряжался. Купцам он прямо приказывал за свой счет оборудовать лазареты и, кроме того, на огромной барже на их счет создал прекрасно поставленный плавающий госпиталь, куда свозил больных. Сам Баранов являлся внезапно в какую-нибудь мастерскую или на завод, где много рабочих, производил осмотр и, конечно, всегда находил грязь и беспорядки. Нечистые спальни, грязные столовые, плохая пища, отсутствие кипяченой воды были всюду, как и до холеры. Найдя беспорядки и указав их, Н.М. Баранов приглашал хозяина сесть с ним в его пролетку, вез на набережную и лично отвозил на лодке прямо к плававшему госпиталю, где

сдавал коменданту:

«Вот, получите нового служителя, пусть моет полы и ведра таскает», – и уезжал.

Когда человек пять таких тузов отправил он в госпиталь, все начали чистить, мыть, перестраивать и кормить рабочих и служащих свежей пищей в чистых столовых. В две недели Нижнего стало не узнать: чистота на улицах и на дворах.

Кроме купцов, отправленных в служители в холерный госпиталь, Баранов стал забирать шулеров, которые съехались, по обычаю, на ярмарку. Их он держал по ночам под арестом, а днем посылал на грязные работы по уборке выгребных и помойных ям, а особенно франтоватых с девяти часов утра до обеда заставлял мести площади и мостовые у всех на виду.

В толпе шулеров, очищающих Нижний от грязи во время холеры, старался с метлой в руках бритый, как актер, пожилой франт в котелке и модном пальто. Это было на площади против ярмарочного театра. Проезжал мимо Баранов и остановился. К нему подошел пристав:

– Ваше превосходительство! Как бы неловкости не вышло...

– Что такое?

– А вот извольте видеть этого бритого...

– Где взят?

– В игорном доме. Он сказал, что он уфимский городской голова. Как бы неловко...

– Да! – задумался Баранов и смотрит, как все метут-старются.

– Что же прикажете, ваше превосходительство?

– Ну, если... городской голова... Так отправить его мести мостовую наверх, в город, перед Думой! – и поехал. Потом, обернувшись, крикнул:

– Пусть метет три дня перед Думой!

Много тогда поработал по холере доктор и писатель С.Я. Елпатьевский, который своей неумоимостью, знанием местных условий и народа спас тысячи людей.

С.Я. Елпатьевский работал в самых опасных местах – в притонах Канавина, на пристанях, главным образом на Песках, до отказа заселенных рабочим народом.

* * *

В июле я выехал на Дон. За Воронежем уже стала чувствоваться холера. Наш почти пустой скорый поезд встречал по пути и перегонял на станциях санитарные поезда с

окрашенными в белую краску вагонами, которые своим видом наводили панику. Здесь на них не обращали внимания, но на глухих станциях мне не раз приходилось слышать:

– В белых вагонах – это холеру везде развозят, чтобы народ морить... Кому надо народ морить? Как холеру развозят? Зачем и кто? – так рассуждали и говорили.

Ехать в поезде было невесело. Жара страшная. Станции пусты и провоняли донельзя карболкой.

Я решил начать поездку с Ростова, а потом пробраться или в верховья Дона, или на Волгу, через станцию Калач.

Первая встреча с холерой была у меня при выходе из вагона в Ростове. Подхожу к двери в зал первого класса – и передо мной грохается огромный, толстый швейцар, которого я увидел еще издали, сходя с площадки вагона. Оказалось – случай молниеносной холеры. Во время моей поездки я видел еще два таких случая, а слышал о них часто.

Неделю я провел верхом вдвоем с калмыком, взятым по рекомендации моего старого знакомого казака, который дал мне свою строевую лошадь и калмыка провожатым. В неблагополучных станицах мы не ночевали, а варили кашу и спали в степи. Все время жара была страшная. В редких хуторах и станицах не было разговора о холере, но в некоторых косило десятками, и во многих даже дезинфекция не употреблялась: халатность полная, мер никаких.

В одной из станиц в почтовой конторе во время приема писем упал и умер старший почтовый чиновник, и все разбежались. Пришлось чужому, проезжему человеку потребовать станичное начальство, заставить вынести из конторы тело, а контору запереть, чтобы не разграбили.

Это был второй случай молниеносной холеры. Третий я видел в глухой степи, среди артели косцов, возвращавшихся с полевых работ на родину. Мы ехали по жаре шагом. Впереди шли семеро косцов. Вдруг один из них упал, и все бросились вперед по дороге бежать. Остался только один, который наклонился над упавшим, что-то делал около него, потом бросился догонять своих. Мы поскакали наперерез бежавшим и поймали последнего.

– Что случилось? Что ты взял у него?

– Паспорт и деньги, братеник это мой, чума заела...

Двое вернулись, смело подошли к нам и объяснили, что они воронежские, были на сенокосе, отработали и шли домой. Их было одиннадцать человек, но дорогой четверо умерли.

– От этой самой чумы. Четверо на земле умерли, а этот прямо... шел-шел – хлоп, и готов! Во, его братеник он!

Бледные, дрожат.

Почему они холеру звали чумой – так я и не спросил. Да вообще разговаривать было некогда, да и не к чему – помочь нельзя, ближайший хутор верстах в десяти, как сказал калмык.

Немало таких брошенных трупов валялось по степи. Их присутствие было видно издали по стаям коршунов и воронья...

Я привожу здесь маленький кусочек из этой поездки, но самое описание холерных ужасов интересно было в то время для газетной статьи, а теперь интереснее припомнить кое-что из подробностей тех дней, припомнить то, что уж более никогда не повторится, – и людей таких нет, и быт совсем другой стал.

Как и всегда во всех моих репортажских изысканиях, да вообще во всех жизненных приключениях, и на этот раз мне, как говорится, повезло.

Когда упавшего швейцара унесли, я сел за столик в буфете и заказал яиц всмятку.

Едва я доел последнее яйцо, вырабатывая в голове, с чего и как начать мои исследования, как ко мне подошел сотник первого казачьего полка, спортсмен, мой старый знакомый и сотрудник «Журнала спорта».

– Владимир Алексеевич, где путь держите?

Истый казак, несмотря на столичную культуру, сказался в нем. Ведь ни один казак никогда не спросит, куда едете или идете, – это считается неприличным, допросом каким-то, – а так, как-нибудь стороной, подойдет к этому. Слово же «куда» прямо считается оскорблением.

«Куда идешь?» – спросит кто-нибудь, не знающий обычаев, у казака.

И в ответ получит ругань, а в лучшем случае скажут:

«Закудыкал, на свою бы тебе голову!...»

Если же встречаются друзья, которым друг от друга скрывать нечего, то разрешается любопытствовать:

«Где идете (или едете)?»

В ответ на его вопрос я рассказываю ему цель своей поездки: осмотреть холеру в степи, по станицам и хуторам, а потом заехать в Новочеркасск и взять официальные данные о ходе эпидемии.

– И надумал я нанять пару лошадей, доехать до одной станицы, конечно, составив предварительно маршрут, в станице снова нанять лошадей до следующей, и так далее, и закончить Новочеркасском.

– Так. Только едва ли закончите Новочеркасском, как бы в степи не побывшиться... Ведь в тех же телегах, на которых вы будете ездить, и холерных возят... Долго ли до греха...

– Что же делать?

– Что делать? А вот сперва выпить хорошего вина, а потом

оно и покажет, что делать... А дело-то простое. Сейчас едем ко мне на хутор: там у меня такой третьегодний самодав – пальчики оближешь! Да и старые вина есть первосортные, – отец сам давит... Вот уж выморозки так выморозки – ум проглотить! Ни у Соколова, ни у Меркуловского ничего подобного!

– Это очень заманчиво, но ведь у меня дело важное. Сейчас я наметил первым делом в город – купить бурку, чайник медный и кое-что из съестного...

– Так. И чайник, и бурку, и казанок с треногой, и суму переметную пойдем купим. До поезда еще часа два. А потом в вагон и ко мне на хутор, а маршрут мы вам с отцом составим, он все знает.

Пошли за покупками.

– А ведь вам везет! – сказал он дорогой.

– В чем?

– Да вот хоть в этом! Я уж все обдумал, и выйдет по-хорошему. На ваше счастье мы встретились: я и в город-то случайно, по делу, приезжал – безвыходно живу на хуторе и хозяйствую. Я уж год как на льготе. Пару кровных кобыл купил... свой табунок, виноградничек... Пухляковский виноград у меня очень удался ныне. Да вот увидите. Вы помните моего старого Тебенька, на котором я в позапрошлом году офицерскую скачку взял? Вы его хотели еще в своем журнале напечатать...

– Хорошо помню – караковый полукровок, от Дир-боя.

– Три четверти кровный! Вот на нем-то вы и поедете по степям. Плохому езду не дал бы, а вам с радостью! Из всякой беды вынесет.

– Ну, а как же... – заикнулся я, но он меня перебил:

– Да вот так же, вам всегда везет, и сейчас тоже! Вчера приехал ко мне мой бывший денщик, калмык, только что из полка отпущенный на льготу! Прямо с поезда, проездом в свой улус, прежде ко мне повидаться, к своему командиру... Я еду на поезд – а он навстречу на своем коне... Триста монет ему давали в Москве – не отдал! Ну, я велел ему дожидаться, – а вышло кстати... Вот он вас проводит, а потом и мою лошадь приведет... Ну, как, довольны? – и хлопнул меня по плечу.

– Счастлив! Александр... Александр...

– Ну, уж вы меня попросту, как отец зовет, Санькой! Ты, мол, Санька!

– Ну ладно, спасибо тебе, Саня!

На полустанке нас ждала пара прекрасных золотистых полукровок в тачанке, и на козлах, рядом с мальчуганом-кучером, в полной казачьей форме калмык. Он спрыгнул и вытянулся.

– Здравствуй, Ваня! Хорошо, что дождался, а я хочу тебе на неделю службу дать.

– Рад стараться, ваше благородие.

Дорогой мы все переговорили. Я спросил у калмыка его имя.

– Иван, – так меня, когда я в денщики к их благородию поступил, они меня называли, и весь полк так звал! – очень чисто, почти без акцента ответил мне калмык.

Двое суток я прожил у милых казаков. Старик, участник турецкой кампании на Балканах, после серьезной раны безвыходно поселился на хуторе и хозяйствовал. Его дом был полная чаша, а жена, красавица с седыми кудрями, положительно закармила меня. Такого каймака я никогда и нигде не ел! Отец угощал удивительными десятилетними наливками и старыми винами, от которых голова свежая, сиди за столом и пей, только встать не пробуй – ноги не слушаются! Сначала отец как-то поморщился, узнав, что сын дает мне своего Тебенька, но когда на другой день мы устроили кавалькаду и я взял на нем два раза ограду, – он успокоился, и мы окончательно подружились. Я фотографировал группы семьи – вся семья только трое: отец, мать и холостой Саня, – потом снял калмыка, а потом... Вот я о чем жалел, когда выехал на холеру, – забыл у них свой кодак, засунув его в книги, и получил его почтой в Москву вместе с чудным окороком и гусиными копчеными полотками. (В кодаке было снято пять пластинок – в том числе был и калмык.)

«А вина и наливки пришлю после, с какой-нибудь оказией, а то эти подлецы на почте не приняли, и пришлось Саньке посылку перекупоривать», – было в письме от старика.

И действительно, зимой прислал!

А как хлопотала сама хозяйка, набив сумку съестным, – а главное, что больше всего пригодилось, – походными казачьими колобками, внутри которых находилось цельное круто испеченное яйцо! Была ветчина малосольная, пшено, рис, чудное сало, запас луку и чесноку. А каким великолепным поваром оказался мой калмык, питавший меня ежедневно в обед и в ужин кулешом, в который валил массу луку и чесноку – по рекомендации моих хозяев, против холеры лучшее средство. О напитках тоже позаботились. И, напутствуя меня, когда я уже был готов к отъезду, старый казак надел мне на шею большой медный крест на шелковом гайтане.

– Против холеры первое средство – медь на голом теле... Старинное средство, испытанное!^[2]

Вспомнил я, что и старые бурлаки во время холеры в Рыбинске носили на шее и в лаптях, под онучами, медные старинные пятаки.

Приняв от него это благословение, я распрощался с милыми людьми, – и мы с Иваном очутились в выгоревшей, пыльной степи... Дальнейшие подробности со всеми ужасами опускаю, – да мне они уж и не казались особенными ужасами после моей командировки несколько лет тому назад за Волгу, в Астраханские степи, на чуму, где в киргизских кибитках валялись разложившиеся трупы, а рядом шевелились черные, догнивающие люди. И никакой помощи ниоткуда я там не видел!

Насмотрелся я картин холеры, исписал три записные книжки.

Мы стали приближаться к Новочеркаску. Последнюю остановку я решил сделать в Старочеркасске, – где, как были слухи, много заболело народу, особенно среди богомольцев, – но не вышло. Накануне, несмотря на прекрасное питание, ночлеги в степи и осторожность, я почувствовал недомогание, и какое-то особо скверное: тошнит, голова кружится и, должно быть, жар.

Я ничего не сказал калмыку, а только заявил, что завтра поедем прямо в Новочеркасск, а в Старочеркасск заезжать не будем, хотя там висят на паперти собора цепи Стеньки Разина, которые я давно мечтал посмотреть. А слышал я о них еще во времена моей бродяжной жизни, в бессонные ночи, на белильном заводе, от великого мастера сказки рассказывать, бродяги Суслика, который сам их видал и в бывальщине о Степане Тимофеиче рассказывал, как атамана забрали, заковали, а потом снова перековали и в новых цепях в Москву повезли, а старые в соборе повесили для устрашения...

Если я не поехал посмотреть эти цепи, так значит, уж мне плохо пришлось! Я даже отказался, к великому горю Ивана, ужинать и, по обыкновению завернувшись в бурку, седло под голову, лег спать, предварительно из фляги потянув полыновки и еще какой-то добавленной в нее стариком спиртуозной, очень вкусной смеси.

Ночь была теплая, и я проснулся утром, когда солнце взошло. Голова кружилась, тошнило. Наконец я сказал Ивану, который уже вскипятит чай:

– Уж не холера ли со мной? Ведь со вчерашнего дня!

– Никак нет, ваше благородие, а впрочем, все может быть! Только это ничего – пропотеть, и все пройдет! Напьемся чайку.

Он и о себе и обо мне одинаково говорил «мы» – чисто денщицкая привычка.

«Что нового?» – спросили денщика одного полкового адъютанта.

«Есть новость! Так что мы с барином женимся, его благородие

полковницку дочку засватали»...

– Напьемся чайку напополам с вином (которого он и в рот не брал), а потом наденем на себя бурку да наметом, наметом, пока скрозь не промокнем, – и всякая боль пройдет! К Черкасску здоровы будем!

А меня дрожь пробирает и тошнит.

Поседлал Иван, туго затянул подпруги – и ахнули мы с ним вместе широким наметом – только ветер свистит кругом да голову отворачиваешь! Давно я так не скакал, а без тренировки задыхаешься. Да еще слабость...

Иногда, когда Иван отставал, я сдерживал моего Тебенька, – но сын славного Дир-боя, отмахав верст двадцать, был свеж, только фырчит, ноздри раздувает, а повода не спускает, все спрашивает. И у калмыка хорош конь – тоже свеж.

– Он от подкопаевского Тумана... Лошади цены нет, – хвалился Иван.

Я был мокрый насквозь, но чувствовал себя бодро.

– Ваня, а ведь я здоров!

– Пропотел – и здоров. Это «она» была с вами! Ляг только – застынешь и умрешь!.. Может, кашу сварить?

– Нет уж, не стоит...

– Так винца выпейте!

Через час мы были в Новочеркасске, у подъезда «Европейской гостиницы», где я приказал приготовить номер, а сам прямо с коня отправился в ближайший магазин, купил пиджачную пару, морскую накидку, фуражку и белье. Калмык с лошадьми ждал меня на улице и на все вопросы любопытных не отвечал ни слова, притворяясь, что не понимает. Вымуштрованный денщик был – и с понятием!

До сего времени не знаю, был ли это со мной приступ холеры (заразиться можно было сто раз) или что другое, но этим дело не кончилось, а вышло нечто смешное и громкое, что заставило упомянуть мою фамилию во многих концах мира, по крайней мере в тех, где получалась английская газета, выходившая в миллионах экземпляров.

Отпустив калмыка, я напился чаю и первым делом пошел в редакцию газеты «Донская речь», собрать кое-какие данные о холере. Газета подцензурная, и никаких сведений о холере, кроме кратких, казенных, в ней не было. Чтобы получить подробные официальные сведения о ходе холеры во всей области, мне посоветовали обратиться в канцелярию наказного атамана. Между прочим, шутя я рассказал в редакции о том, как меня калмык от холеры вылечил.

Я отправился в канцелярию, и только вышел, встречая знакомого генерала А.Д. Мартынова, начальника штаба, в те дни замещавшего наказного атамана, бывшего в отпуску. Я ему сказал, что иду в канцелярию за справками.

– Не беспокойтесь, все у меня в руках, все будет сделано, а теперь ко мне завтракать; мне карачаевских барашков привезли да икры ачуевской!

– С удовольствием!

– Вы из Москвы? Ну, как там?

Не успел я ответить, как из-за угла выскочили два бешено мчавшихся всадника – офицер и казак.

– Стой! – крикнул казаку офицер, на всем скаку посадил на задние ноги коня, казак на лету подхватил брошенные поводья, а офицер, вытянувшись в струнку, отрапортовал генералу:

– Сейчас я остановил поезд-шахтерку на посту. Обошел все вагоны, нашел троих холерных, высадил их и отправил в холерный барак.

– Подальше, подальше, Василий Иванович, а то еще холеру принесете. Поезжайте переоденьтесь!

А сам назад пятится.

– Слушаю, ваше превосходительство! – откозырял офицер, прямо с земли, без стремени прыгнул в седло и умчался с казакom.

– Это Власов! Наш полицмейстер, отчаянная голова... Да! Да! Вы из Москвы сейчас?

– Нет, из степи! – И я рассказал ему сделанный мной маршрут, украсив его виденными картинками.

Изменился еще больше, чем от рапорта Власова, генерал:

– Так это вы из самого очага холеры?!

Посмотрел на часы.

– Знаете? Ведь мы опоздали! Уж второй час, а я думал – двенадцать! Пойдемте завтракать в «Ротонду», у меня дома, я думаю, позавтракали.

А сам все жметя от меня. Пришли в городской сад, в «Ротонду», где я за завтраком рассказал, какие мне надо получить сведения.

– Канцелярия не даст! И я ничего не могу сделать – о шествиин холеры мы даже в Петербург сообщаем в пакетах с подписью «совершенно секретно»... Циркуляр строжайший, а главное, чтобы в печать не попало!

Из ресторана я пришел в номер, купив по пути пачку бумаги. Я решил прожить два дня здесь, на свободе привести в порядок мои три сплошь исписанные записные книжки, чтобы привезти в Москву готовые статьи, и засел за работу.

После обеда, на другой день, я опять был в «Донской речи», и редактор мне подал гранку «Калмыцкое средство от холеры», перекрещенную красными чернилами.

В двадцати строках рассказано происшествие с корреспондентом «Русских ведомостей», – далее полностью мои инициалы и фамилия. Точь-в-точь как было!

Гранку эту отдали мне, и по приезде в Москву я показал ее – и все много смеялись.

В числе видевших гранку был репортер «Петербургского листка» И.М. Герсон.

Дня через три вдруг я вижу в этой газете заметку «Средство от холеры» – по цензурным условиям ни о Донской области, ни о корреспонденте «Русских ведомостей» не упоминалось, а было напечатано, что «редактор журнала „Спорт“ В.А. Гиляровский заболел холерой и вылечился калмыцким средством: на лошади сделал десять верст галопа по скаковому кругу – и болезнь как рукой сняло».

Прошло недели две. В редакции «Русских ведомостей» заведующий иностранными газетами А.Е. Крепов преподнес мне экземпляр газеты, в которой была перепечатана эта заметка из «Петербургского листка».

Еще в некоторых иностранных газетах появился перевод заметки из «Петербургского листка» – так тогда заграница интересовалась холерой!

Это курьез из моей репортерской поездки, но она дала мне и нечто более серьезное.

За полгода до моей поездки на холеру, в Москве, на одной из студенческих тайных вечеринок в пользу Донского землячества, я прочел мою поэму «Стенька Разин».

Поэма эта как запрещенная всегда имела у молодежи успех, а у донцов особенный. Во время обычных танцев после программы на эстраде я отдыхал в буфете. Ко мне подошел знакомый композитор и музыкальный хроникер Грабовский и попросил разрешения представить мне свою жену, донскую казачку, которая очень заинтересовалась поэмой. Познакомились. Она рассказала, что ее отец, известный на Дону педагог, теперь уже живущий на пенсии, еще будучи студентом и учителем в станице, много работал по собиранию материала о Стеньке Разине, и если я позволю ей переписать это стихотворение для ее отца, то доставлю ему нескончаемое удовольствие.

– Мне думается, что если бы вы с ним повидались, то от него получили бы, наверное, много неизвестных данных. Так, например, я помню, отец всегда говорил, что казнь Разина была

не на Красной площади, как пишут историки, а на Болоте.

Я удивился – в первый раз слышу!

– Он очень счастлив будет получить поэму о его любимом герое. А если будете на Дону – повидайте его обязательно!

Я записал адрес и обещал прислать стихи, но как-то, за суетой, так и не послал.

Сидя третий день в номере «Европейской гостиницы», я уже кончал описание поездки, но вспомнил о цепях Стеньки Разина, и тут же пришло на память, что где-то в станице под Новочеркасском живет известный педагог, знающий много о Разине, что зовут его Иван Иванович, а фамилию его и название станицы забыл.

Я отправился на счастье в «Донскую речь», – может быть, там знают известного педагога Ивана Ивановича и помнят его фамилию. В кабинете редактора были еще два сотрудника.

– Какой у вас на Дону есть известный педагог Иван Иванович? Я его фамилию забыл!

– Иван Иванович? – в один голос сказали все трое. – Да мы все трое ученики его... Он воспитал три поколения донцов. Кто не знает нашего любимого учителя!.. Инспектор реального училища! Теперь на пенсии!

И с какой любовью они рассказывали об этом старике!

Иван Иванович из простых казаков. Кончил гимназию, кончил математический факультет Харьковского университета, и, как лучшему выпускнику, ему предложено было остаться при университете, но он отказался:

«У нас на Дону ученые нужнее!»

Вернулся на Дон и поступил на службу народным учителем в станице. И долго он был народным учителем, а потом наконец перешел учителем в гимназию в Новочеркасск, а затем, много-много лет прослужив учителем математики, получил место инспектора реального училища, продолжая в нем и преподавание. Он пользовался общей любовью всего Дона, ученики чуть не молились на него, начальство уважало его за знания и за исключительную честность, но невзлюбил его наказной атаман Святополк-Мирский, присланный на эту должность из Петербурга.

«Святополк-Окаянный», – звали его все донцы, ненавидя за всевозможные пакости.

На несчастье Ивана Ивановича, в реальном училище учились два племянника Святополка, франтики и лентяи. Иван Иванович два года подряд оставлял их в одном и том же классе, несмотря на то, что директор, по поручению Святополка, просил Ивана

Ивановича поставить им на выпускном экзамене
удовлетворительный балл:

«Родственники атамана! Надо сделать!»

«Для меня все ученики равны, а до того, что им атаман –
родственник, мне нет дела!»

И вкатил им по двойке. Пришлось им выйти из училища, но
пришлось выйти из училища и Ивану Ивановичу...

Как уж там атаман устроил – любимца-педагога уволили с
крохотной пенсией.

Все возмутились, но сделать ничего нельзя было. Отозвались
тем, что начали ему наперебой давать частные уроки, – и этим он
существовал, пока силы были. Но пришла старость, метаться по
урокам сил нет, семьища – все мал мала меньше... В нужде живет
старик в своем домишке в станице Персияновка.

– Спросите там Ивана Ивановича – всякий укажет!

Тут я и станицу вспомнил, записанную в потерянном мной
адресе: Персияновка!

Через час извозчик привез меня в станицу верстах в десяти от
города.

Я застал старика с большой седой бородой, в одной рубахе и
туфлях, с садовым ножом в руках за обрезкой фруктовых деревьев
в прекрасном садике. Я передал ему поклон от дочери и
рассказал о цели моего приезда.

– Рад, очень рад! А вот первым делом пойдем обедать,
слышите – зовут, а после обеда и поговорим.

Старик представил меня жене, пожилой, но еще красивой
южной донской красотой. Она очень обрадовалась поклону от
дочери. За столом сидели четыре дочки лет от четырнадцати и
ниже. Сыновей не было – старший был на службе, а младший,
реалист, – в гостях. Выпили водочки – старик любил выпить, а
после борща, «красненьких» и «синеньких», как хозяйка нежно
называла по-донскому помидоры, фаршированные рисом, и
баклажаны с мясом, появилась на стол и бутылочка цимлянского.

Когда дети ушли, начался наш разговор.

Я прочел отрывки из моей поэмы, причем старушка не раз
прослезилась, а Иван Иванович тоже расчувствовался и сказал:

– Превосходно! Это, пожалуй, лучшее из всего, что я читал о
Разине. Только позвольте мне указать на некоторые детали.
Повторите мне первые строки казни.

Читаю:

...Утро ясно встает над Москвою,
Солнце ярко кресты золотит,
А народ еще с ночи толпою

– Вот тут историческая неверность, Впрочем, – сказал он, – утвержденная нашими учеными историками; на самом деле Разин казнен не на Красной площади, а на Болоте. Я могу утверждать это. Со студенческой скамьи и в первые годы учительства, холостым еще, я страстно увлекся двумя нашими героями – Разиным и Булавиным, а потом и потерпел за это увлечение – был под надзором, и все работы мои пропали. Вот она знает кое-что... На мою карьеру повлияло: сколько лет в городе места не давали. Разин-то еще не так, а вот особенно за Булавина досталось. Больше Разина его боялись! Да и о Стеньке песни только в степях певали, а в училищах строго запрещалось! Вот тогда еще узнал я о казни на Болоте – рылся у нас в архивах, хотел в Москву ехать, куда донские дела того времени были от нас отосланы, а как случилась беда – все бросил! Вот сейчас с вами в первый раз разговариваю о нем.

И много мне Иван Иванович рассказал из преданий, сохранившихся в семьях потомков разинцев, хранивших эти предания от своих дедов, прадедов, участников разинского бунта, присутствовавших при казни, видевших, как на Болоте четвертовали их атамана и как голову его на высокий шест, рядом с помостом, поставили на берегу Москвы-реки.

– Тогда, перед казнью, много наших донцов похватали! Приехали они в Москву атамана спасать. Похватали и сослали кого в Соловки, кого куда. Уж через пять лет, когда воцарился Федор, вернули, и многие из них шли через Москву и еще видели на шесте, против Кремля, на Болоте, голову своего атамана.

Назвал он мне несколько фамилий, где еще живы предания меж стариков.

– Только вряд ли старики говорить будут. Опасаются чужих людей. Есть и прямые потомки Разина.

Пришли дети к чаю и перебили как раз на этих словах наш разговор. При детях старик об этом не говорил.

Потом, на закате, на скамейке в саду он жалел, что пропали все песни и сказы о Разине, которые он собрал.

– Особенно жаль одну былинку, в Пятиизбянской станице я ее записал: о голове Стеньки, которая в полночь с Москвой-рекой разговаривает о том, что опять Разин явится на земле и опять поведет народ.

Я хотел уехать с почтовым поездом, – станция была рядом, – но он оставил меня ночевать и много-много рассказывал из

донской старины. По его просьбе я раза три прочел ему поэму и обещал ее прислать.

Прощаясь, он сделал еще замечание:

– Да вот еще Фролка. У вас его казнили вместе с атаманом. Это неправда. Его отвели в тюрьму и несколько лет пытали и допрашивали, где Степан клады зарыл. Возили его сыщики и по Волге, и к нам на Дон привозили. Старики в Кагальнике мне даже места указывали, где Фролка указывал. Места эти разрывали, но нашли ли что, никто не знает, тайно все делалось. Старики это слыхали от своих дедов очевидцев.

У казаков, с издревле и до последнего времени, говорится не Степан Разин, а Стенька. Это имя среди казаков почетнее.

«Стенька, Фролка – это пережиток старого, это позорящие имена. Надо говорить Степан, Фрол», – нередко приходится слышать такие замечания.

Это неверно. По-староказацки Стенька, Фролка – почетно. Такое прозвище заслужить надо.

Старинная песня пела про атамана, что «на том струге атаман сидит, что по имени Степан Тимофеевич, по прозванию Стенька Разин сын».

Это же было и с его предшественником, другим Тимофеевичем, Ермаком. Ермак – прозвание, его имя было Ермил. «Атаманом быть Ермилу Тимофеевичу», – поют в одной песне. В другой Ермак о себе: «Я шатался, мотался, Ермил, разбивал я, Ермил, бусы-корабли». Это было в донской его период, а потом, когда он на Волге и в Сибири прославился, – из Ермила стал Ермаком. На Дону и на низовьях Волги это было особенно в моде.

У Л.Н. Толстого в «Казаках» есть Ерошка. На самом деле это был удалец, герой, старый казак Епифан Сехин, но его из почтения звали дядя Епишка.

Когда его племянник, сын его брата Михаила, Димитрий Сехин, войсковой старшина, был в гостях в Ясной Поляне и назвал Льва Николаевича графом, – тот обиделся. Тогда Сехин стал его звать «Лев Николаевич».

«Нет, вы меня попроще, по-гребенскому. Как бы меня, старика, там вы звали?»

«Как самого почтенного человека – дядя Левка».

«Ну вот и хорошо, дядя Левка и зовите».

Многие незнающие редакторы исправляют Стеньку на Степана. Это большая и обидная ошибка: Стенька Разин – это почетно. Стенька Разин был один, а Степанов много...

– Поройтесь в московских архивах, в летописях того времени! – посоветовал мне на прощанье Иван Иванович.

Я записал рассказы старика и со скорым поездом выехал в Москву, нагруженный материалами, первое значение, конечно, придавая сведениям о Стеньке Разине, которых никогда бы не получил, и если бы не был репортером, легенда о Красной площади жила бы нерушимо и по сие время.

Вернувшись, я первым делом поблагодарил дочь Ивана Ивановича за знакомство с отцом, передал ей привет из дома и мою тетрадь со стихами, где был написан и «Стенька Разин». Стихи она впоследствии переписала для печати. В конце 1894 года я выпустил первую книгу моих стихов «Забытая тетрадь».

Но, издавая книгу, я, не имея документальных данных, напечатал о казни Стеньки Разина на Красной площади и вскоре, проездом на Дон, лично вручил мою книгу Ивану Ивановичу.

– Все-таки на Красной площади? – улыбнулся он.

– Да, не хотел пока идти против всех. Ведь и в песнях о Разине везде поют, что

В Москве на Красной площади
Отрубили ему буйну голову!

– Ну, конечно, так красивее! А все-таки!..

Он так много рассказал мне, что во втором издании «Забытой тетради», в 1896 году, я сделал ряд изменений в поэме и написал:

...А народ еще с ночи толпою
К месту казни шумливо спешит.

– Вот насчет Фролки... Ну это так, для стиха хорошо:

Изрубили за ним есаула,
На кол головы их отнесли... —

читает он по книжке. – О, все-таки поройтесь в архивах!

– Да я уж пробовал, Иван Иванович! Обратился к самому главному начальнику с просьбой поискать материалов по бунту Разина для литературной работы, но его превосходительство так меня пугнуло, что я отложил всякие попытки.

«Прославлять вора, разбойника, которого по церквам проклинают!»

Горячилось его превосходительство, двигая вставными челюстями, и грозило принять какие-то меры против меня лично, если я осмелюсь искать материалы.

«Пока я жив, и вообще пока существует цензура, – этого не будет. Пока...»

Я не дал ему договорить, повернулся и, уходя, сказал: «Подождем, ваше превосходительство!»

Расхохотался Иван Иванович, хлопнул меня по плечу и ласково сказал:

– Дождешься, еще молод... Дождешься!

Я вернулся в Москву из поездки по холерным местам и сдал в «Русские ведомости» «Письмо с Дона», фельетона на три, которое произвело впечатление на В.М. Соболевского и М.А. Саблина, прочитавших его при мне. Но еще более сильное впечатление произвели на меня после прочтения моего описания слова Василия Михайловича:

– Удивительно интересно написано, но нельзя печатать!

И он показал циркуляр, запрещающий писать о холере.

Я не любил работать в редакции – уж очень чинно и холодно среди застегнутых черных сюртуков, всех этих прекрасных людей, больших людей, но скучных. То ли дело в типографии! Наборщики – это моя любовь. Влетаешь с известием, и сразу все смотрят: что-нибудь новое привез! Первым делом открываю табакерку. Рады оторваться от скучной ловли букашек. Два-три любителя – потом я их развел много – подойдут, понюхают табак и чихают. Смех, веселье! И метранпаж рад – после минутного веселого отдыха лучше работают.

– Что нового принесли? – любопытствует метранпаж И.П. Яковлев.

– Да вот, буду сдавать, Иван Пафнутьич.

И бегу в корректорскую. Пишу на узких полосках, отрываю и по десяти строчек отсылаю в набор, если срочное и интересное известие, а время позднее. Когда очень эффектное – наборщики волнуются, шепчутся, читают кусочками раньше набора. И понятно: ведь одереvenеешь стоять за пахучими кассами и ловить, не глядя, свинцованными пальцами яти и еры, бабашки и лапочки или выскребать неуловимые шпации...

Тогда еще о наборных машинах не думали, электричества не было, а стояли на реалах жестяные керосиновые лампы, иногда плохо заправленные, отчего у наборщиков к утру под носом было черно... Пахнет копотью, керосином, свинцовой пылью от никогда не мытого шрифта.

Как же не обрадовать эту молчаливую рать тружеников! И бросишь иногда шутку или экспромт, который тут же наберут потихоньку, – и заходит он по рукам. Рады каждой шутке. Прямо,

как войдешь, так и видишь, что набирают что-нибудь нудное: или передовую, или отчет земского заседания, или статистику. А то нервничают с набором неразборчивой рукописи какого-нибудь корифея. Особенно ругались, набирая мелкие и неясные рукописи В.И. Немировича-Данченко. Специально для него имелись два наборщика, которые только и привыкли разбирать его руку. Много таких «слепых» авторов было, и бегают наборщики друг к другу:

– Чего это накарябано – не разберу?

Жаль смотреть в такие вечера на наборщиков, и рады они каждому слову.

– Что новенького, Владимир Алексеевич? – И смотрят в глаза. Делаешь серьезную физиономию, показываешь бумажку:

– Генерал-губернатор князь Долгоруков сегодня... оценился!

И еще серьезнее делаешь лицо. Все оторопели на миг... кое-кто переглядывается в недоумении.

– То есть как это? – кто-то робко спрашивает.

– Да вот так, взял да и оценился! Вот, глядите, – показываю готовую заметку.

– Да что он, сука, что ли? – спрашивает какой-нибудь скептик.

– На четырех лапках, хвостик закорючкой! – острит кто-то под общий хохот.

– Четыре беленьких, один рыжий с подпалинкой!

– Еще слепые, поди! – И общий хохот.

А я поднимаю руку и начинаю читать заметку. По мере чтения лица делаются серьезными, а потом и злыми. Читаю:

«Московский генерал-губернатор ввиду приближения 19 февраля строжайше воспрещает не только писать сочувственные статьи, но даже упоминать об акте освобождения крестьян».

Так боялась тогда администрация всякого напоминания о всякой свободе!

Слово «оценился» вошло в обиход, и, получая статьи нелюбимых авторов, наборщики говорили:

– Этот еще чем оценился?

Спустя долгое время я принес известие об отлучении Л.Н. Толстого от церкви и объявил в наборной:

– Победоносцев оценился!

– Ну, уж в это не поверим! – слышалось из угла.

– Ну, опоросился! – крикнули из другого. – Вот это вернее! – И опять общий хохот.

Любили стихи наборщики. В свободные минуты просили меня прочесть им что-нибудь, и особенно «Стеньку Разина». Когда же справляли 25-летний юбилей метранпажа А.О. Кононова, то ко

мне явилась депутация от наборной с просьбой написать ему на юбилей стихи, которые они отпечатали на плотной бумаге с украшением и поднесли юбиляру.

Я написал:

В жизни строгой и суровой,
Труд поставив за кумир,
Был ты армии свинцовой
Четверть века командир.

Некрасивы, молчаливы
Эти полчища солдат.
Четверть века ты на диво
Выставлял их в стройный ряд.

Чуть лишь полчище готово,
Вмиг солдаты оживут, —
Воплощал в живое слово
У станка безмолвный труд...

Тяжким воздухом свинцовым
Четверть века ты дышал,
Был всегда к труду готовым,
День работал, ночь не спал.

Велика твоя заслуга:
Средь рабочей суеты
Для чужого и для друга
Был всегда отзывчив ты.

С честью званье человека
Носишь в жизни ты своей...
Счастлив будь! Чрез четверть века
Справим новый юбилей!

Стихотворную мою шутку на пьесу Л.Н. Толстого «Власть тьмы» в день ее первой постановки на сцене разнесли по Москве вмиг. На другой вечер всюду слышалось:

В России две напасти:
– Внизу – власть тьмы,
А наверху – тьма власти...

Весело было в наборной и корректорской! К двенадцати часам ночи, если не было в Москве какого-нибудь особо важного случая, я всегда в корректорской. Здесь в это время я писал срочные заметки для набора и принимал моих помощников с материалом. Я приспособил сотрудничать небольшого чиновника из канцелярии обер-полицмейстера, через руки которого проходили к начальству все экстренные телеграммы и доклады приставов о происшествиях. Чиновник брал из них самый свежий материал и ночью приносил мне его в корректорскую. Благодаря ему мы не пропускали ни одного интересного события и обгоняли другие газеты, кроме «Московского листка», где Н.И. Пастухов имел другого такого чиновника, выше рангом, к которому попадали все рапорты раньше и уже из его рук к младшему, моему помощнику. У меня был еще сотрудник, Н.П. Чугунов, который мнил себя писателем и был о себе очень высокого мнения, напечатав где-то в провинции несколько сценок. У меня же он ограничивался ежедневным доставлением из типографии «Полицейских ведомостей», в которых сообщалось о приехавших и выехавших особах не ниже четвертого класса. Безобидный, мирный, громадный человечина был Н.П. Чугунов, но я раз шуткой его обидел.

В свободное между заметками время, за чаем, в присутствии корректоров, метранпажа и сотрудников я сказал, что приготовил для издания книгу своих рассказов и завтра несу ее в набор.

– Я тоже готовлю том своих сочинений! – важно заявил Н.П. Чугунов.

– Почему же не два, Николай Петрович, у тебя и на два наберется! Первый том – приехавшие, а второй – выехавшие!

Через год Н.П. Чугунов отомстил мне. Когда моя книга «Трущобные люди» была сожжена, он мне в той же корректорской при всех сказал:

– По нынешним временам выгоднее приехавших и выехавших писать – они мне триста рублей в год дают!

– Правда, Коля! А я вот триста рублей задолжал.

Товарищество «Русских ведомостей» состояло из двенадцати пайщиков, почему Н.И. Пастухов в своем «Листке» и называл «Русские ведомости» газетой двенадцати братчиков.

– Поди-ка, пойми, – говаривал он, – где у них начинаются либералы и где кончаются обиралы!

По уставу Товарищества полагалось процентное вознаграждение из дивиденда каждому из всех служащих в редакции по расчету получаемого жалованья, так сказать, «участие в прибылях».

С покупкой дома и уплатой старых долгов дивиденда первое

время не было, и только на 1890 год он появился в изрядной сумме, и было объявлено, что служащие получают свою долю. И действительно, все получили, но очень мало.

Славные люди были в конторе, служившие еще в старом доме. Ф.В. Головин, главный бухгалтер, тогда еще совсем молодой человек, очень воспитанный, сама доброта и отзывчивость, С.Р. Скородумов, принимавший объявления, Митрофан Гаврилов, строгого солдатского вида, из бывших кантонистов, любимец газетчиков и наборщиков, две славные, молчаливые барышни, что-то писавшие, – и глава над всем, леденившая своим появлением всю контору, Ю.Е. Богданова, сестра одного из пайщиков, писавшего статьи о банках.

Силу она забрала после смерти общего любимца В.С. Пагануцци, заведовавшего конторой и хозяйством. При нем все было просто, никакой казенщины и канцелярщины.

После В.С. Пагануцци конторой и хозяйством заведовали А.П. Лукин и М.А. Саблин, но я их никогда не видел в конторе. Главенствовала Ю.Е. Богданова. Она имела при конторе маленькую комнатку, поминутно шмыгала из нее в контору: остановится в дверях и смотрит сквозь очки, стриженная, в короткой юбке и черной кофте. Ее появление нервировало служащих. Ф.В. Головин устроился за своей конторкой спиной к ее двери, так же повернул свой стул и невозмутимый М.Г. Гаврилов, а С.Р. Скородумов загородился от ее взоров кучей книг на конторке.

– Чтобы не видеть! От ее глаз руки отваливаются! – говорил он.

Дошло ли это до Юлии Егоровны или уж просто она чувствовала ненависть старика, но его уволили.

На место его взяли славного юношу, сына Гаврилова, Колю, который служил долго.

Уже после я узнал, как все служащие, получавшие прежде праздничные подарки, ругались за грошовый дивиденд. Больше всех ругались швейцар и кухарка.

– На Рождество трешную допрежь того давали, на Пасху трешную, а теперь, гляди, дивиденд, проваленные, придумали, да вместо шести рублей семьдесят восемь копеек отвалили! Да пропадите вы пропадом! – и ушла с места, не попрощавшись.

А швейцар Леонтий, бывший солдат, читавший ежедневно газету с передовой до объявлений, так в наборной ругался, что теперь я повторить не могу, кроме только одной памятной фразы:

– Пишут одно, а делают другое, ихняя экономическая политика нам в карман лезет!

Я время от времени заходил в редакцию. Отговорился от заведования отделом и работал эпизодически: печатал рассказы и корреспонденции, а по московской хронике ничего не давал.

Иногда заходил в типографию «табаку понюхать», попить чайку в корректорской и поболтать с друзьями-наборщиками. Сама же верхняя редакция мне опротивела чопорностью и холодностью.

Как-то Антон Чехов сказал о «Русской мысли»: «Там сидят копченые сиги!»

Когда я вернулся из весенней зелени степей, зашел в редакцию – будто в погреб попал, и все эти чопорные, застегнутые на все пуговицы члены профессорской газеты показались мне морожеными судаками. Все, чем я так недавно восторгался, особенно в той, первой, редакции, в Юшковом переулке, и здесь, в первые годы, теперь подверглось моему критическому разбору. Все, кроме В.М. Соболевского и Н.И. Бларамберга, да еще А.И. Чупрова, изредка бывавшего в редакции, стали какими-то высокопарными, уселись по отдельным кабинетам. И важны же были эти «мороженые судаки»!

Я стал работать в других газетах, а главным образом весь отдался спорту и коннозаводству, редактируя, как знаток конского дела, спортивный журнал.

В «Русских ведомостях» изредка появлялись мои рассказы. Между прочим, «Номер седьмой», рассказ об узнике в крепости на острове среди озер. Под заглавием я написал: «Посвящаю Г.А. Лопатину», что, конечно, прочли в редакции, но вычеркнули. Я посвятил его в память наших юных встреч Герману Лопатину, который тогда сидел в Шлиссельбурге, и даже моего узника звали в рассказе Германом. Там была напечатана даже песня «Слушай, Герман, друг прекрасный...»

Об этом знали и говорили только друзья в редакции. Цензуре, конечно, и на ум не пришло.

В 1896 году, перед коронационными торжествами, ко мне приехал М.А. Саблин и от имени редакции просил меня давать для газеты описания событий, связанных с торжествами.

Около двухсот русских и иностранных корреспондентов прибыло к этим дням в Москву, но я был единственный из всех проводивший всю ночь в самом пекле катастрофы, среди многотысячной толпы, задыхавшейся и умиравшей на Ходынском поле.

Накануне народного праздника вечером, усталый от дневной корреспондентской работы, я прямо из редакции «Русских ведомостей» решил поехать в скаковой павильон на Ходынку и осмотреть оттуда картину поля, куда с полудня шел уже народ.

Днем я осматривал Ходынку, где готовился народный праздник. Поле застроено. Всюду эстрады для песенников и оркестров, столбы с развешанными призами, начиная от пары сапог и кончая самоваром, ряд барачков с бочками для пива и меда для дарового угощения, карусели, наскоро выстроенный огромный дощатый театр под управлением знаменитого М.В. Лентовского и актера Форкатия, и, наконец, главный соблазн – сотни свеженьких деревянных будочек, разбросанных линиями и углами, откуда предполагалась раздача узелков с колбасой, пряниками, орехами, пирогов с мясом и дичью и коронационных кружечек.

Хорошенькие эмалевые белые с золотом и гербом, разноцветно разрисованные кружки были выставлены во многих магазинах напоказ. И каждый шел на Ходынку не столько на праздник, сколько за тем, чтобы добыть такую кружку. Каменный царский павильон, единственное уцелевшее от бывшей на этом месте промышленной выставки здание, расцвеченное материями и флагами, господствовало над местностью. Рядом с ним уже совсем не праздничным желтым пятном зиял глубокий ров – место прежних выставок. Ров шириной сажен в тридцать, с обрывистыми берегами, отвесной стеной, где глиняной, где песчаной, с изрытым неровным дном, откуда долгое время брали песок и глину для нужд столицы. В длину этот ров по направлению к Ваганьковскому кладбищу тянулся сажен на сто. Ямы, ямы и ямы, кое-где поросшие травой, кое-где с уцелевшими голыми буграми. А справа к лагерю, над обрывистым берегом рва, почти рядом с краем ее, сверкали заманчиво на солнце ряды будочек с подарками.

Когда я вышел из Чернышевского переулка на Тверскую, она кишела гуляющими москвичами, а вереницы рабочего народа с окраин стремились по направлению к Тверской заставе. Извозчиков по Тверской не пускали. Я взял у Страстного лихача, надел ему на шляпу красный кучерский билет, выданный корреспондентам для проезда всюду, и через несколько минут, лавируя среди стремительных толп, был на скачках и сидел на балконе членского павильона, любясь полем, шоссе и бульваром: все кишело народом. Гомон и дым стояли над полем.

Во рву горели костры, окруженные праздничным народом.

– До утра посидим, а там прямо к будкам, вот они, рядом!

Оставив павильон, я пошел на Ходынку мимо бегов, со стороны Ваганькова, думая сделать круг по всему полю и закончить его у шоссе. Поле было все полно народом, гулявшим, сидевшим на траве семейными группами, закусывая и выпивая.

Ходили мороженщики, разносчики со сладостями, с квасом, с лимонной водой в кувшинах. Ближе к кладбищу стояли телеги с поднятыми оглоблями и кормящейся лошадей – это подгородные гости. Шум, говор, песни. Веселье повсюду. Подбираясь к толпе, я взял от театра направо к шоссе и пошел по заброшенному полотну железной дороги, оставшейся от выставки: с нее было видно поле на далеком расстоянии. Оно тоже было полно народом. Потом полотно сразу оборвалось, и я сполз по песку насыпи в ров и как раз наткнулся на костер, за которым сидела компания и в том числе мой знакомый извозчик Тихон от «Славянского базара», с которым я часто ездил.

– Пожалуйста рюмочку с нами, Владимир Алексеевич! – пригласил он меня, а другой его сосед уж и стаканчик подает. Выпили. Разговариваем. Я полез в карман за табакеркой. В другой, в третий... нет табакерки! И вспомнилось мне, что я забыл ее на столе в скаковом павильоне. И сразу все праздничное настроение рухнуло: ведь я с ней никогда не расстаюсь.

– Тихон, я ухожу, я табакерку забыл!

И, несмотря на уговоры, встал и повернул к скачкам.

Поле гудело на разные голоса. Белеет небо. Стало светать. Прямо к скачкам пройти было невозможно, все было забито, кругом море народа. Я двигался посередине рва, с трудом лавируя между сидящими и прибывающими новыми толпами со стороны скачек. Душно было и жарко. Иногда дым от костра прямо окутывал всего. Все, утомленные ожиданием, усталые, как-то стихли. Слышалась кое-где ругань и злобные окрики: «Куда лезешь! Чего толкаешься!» Я повернул направо по дну рва навстречу наплывавшему люду: все стремление у меня было – на скачки за табакеркой! Над нами вставал туман.

Вдруг загудело. Сначала вдали, потом кругом меня. Сразу как-то... Визг, вопли, стоны. И все, кто мирно лежал и сидел на земле, испуганно вскочили на ноги и рванулись к противоположному краю рва, где над обрывом белели будки, крыши которых я только и видел за мельтешающимися головами. Я не бросился за народом, упирался и шел прочь от будок, к стороне скачек, навстречу безумной толпе, хлынувшей за сорвавшимися с мест в стремлении за кружками. Толкотня, давка, вой. Почти невозможно было держаться против толпы. А там впереди, около будок, по ту сторону рва, вой ужаса: к глиняной вертикальной стене обрыва, выше роста человека, прижали тех, кто первый устремился к будкам. Прижали, а толпа сзади все плотнее и плотнее набивала ров, который образовал сплошную, спрессованную массу воющих людей. Кое-где выталкивали наверх детей, и они ползли по головам и плечам народа на простор.

Остальные были неподвижны: колыхались все вместе, отдельных движений нет. Иного вдруг поднимет толпой, плечи видно, значит, ноги его на весу, не чувят земли...

Вот она, смерть неминуемая! И какая!

Ни ветерка. Над нами стоял полог зловонных испарений. Дышать нечем. Открываешь рот, пересохшие губы и язык ищут воздуха и влаги. Около нас мертво-тихо. Все молчат, только или стонут, или что-то шепчут. Может быть, молитву, может быть, проклятие, а сзади, откуда я пришел, непрерывный шум, вопли, ругань. Там, какая ни на есть, – все-таки жизнь. Может быть, предсмертная борьба, а здесь – тихая, скверная смерть в беспомощности. Я старался повернуть назад, туда, где шум, но не мог, скованный толпой. Наконец, повернулся. За мной возвышалось полотно той же самой дороги, и на нем кипела жизнь: снизу лезли на насыпь, стаскивали стоящих на ней, те падали на головы спяянных ниже, кусались, грызлись. Сверху снова падали, снова лезли, чтобы упасть; третий, четвертый слой на голову стоящих. Это было именно то самое место, где я сидел с извозчиком Тихоном и откуда ушел только потому, что вспомнил табакерку.

Рассвело. Синие, потные лица, глаза умирающие, открытые рты ловят воздух, вдали гул, а около нас ни звука. Стоящий возле меня, через одного, высокий благообразный старик уже давно не дышал: он задохся молча, умер без звука, и похолодевший труп его колыхался с нами. Рядом со мной кого-то рвало. Он не мог даже опустить головы.

Впереди что-то страшно загомонило, что-то затрещало. Я увидал только крыши будок, и вдруг одна куда-то исчезла, с другой запрыгали белые доски навеса. Страшный рев вдали: «Дают!.. давай!.. дают!..» – и опять повторяется: «Ой, убили, ой, смерть пришла!..»

И ругань, неистовая ругань. Где-то почти рядом со мной глухо чмокнул револьверный выстрел, сейчас же другой, и ни звука, а нас все давили. Я окончательно терял сознание и изнемогал от жажды.

Вдруг ветерок, слабый утренний ветерок смахнул туман и открыл синее небо. Я сразу ожил, почувствовал свою силу, но что я мог сделать, впаянный в толпу мертвых и полуживых? Сзади себя я услышал ржание лошадей, ругань. Толпа двигалась и сжимала еще больше. А сзади чувствовалась жизнь, по крайней мере ругань и крики. Я напрягал силы, пробирался назад, толпа редела, меня ругали, толкали.

Оказалось, что десяток конных казаков разгонял налезавших сзади, прекращая доступ новым, прибывавшим с этой стороны. Казаки за шиворот растаскивали толпу и, так сказать, разбирали снаружи эту народную стену. Это понял народ и двинулся назад, спасая свою жизнь. Я бросился среди убежавших, которым было уже не до кружки и не до подарка, и, вырвавшись, упал около забора беговой аллеи. Я рвал траву и ел, это утоляло жажду, и я забылся. Сколько времени это продолжалось – не знаю. Когда пришел в себя, почувствовал, что лежу на камне. Полез в задний карман и нашел там табакерку... Я лежал на ней и думал – камень!

– К черту смерть! К черту Ходынка! Вот она где!

Я воскрес, смотрю на сверкающее солнце и сам не верю. Открываю, нюхаю. И всю усталость, весь ужас пережитого как рукой сняло. Я никогда и ничему так не радовался, как этой табакерке. Это был подарок моего отца.

«Береги на счастье», – сказал он мне, даря ее еще в 1878 году, когда я приехал к нему, вернувшись с турецкой войны. И это счастье я чувствовал.

В этот миг я думал только об одном – попасть домой, взять ванну и успокоить своих. Я забыл и газеты и корреспондентскую работу, мне противно было идти на Ходынку. Я бросился по аллее к шоссе мимо стремящихся туда и оттуда толп, галдевших, торопившихся. На мое счастье, из скаковой аллеи выезжал извозчик. Я вскочил на пролетку, и мы поехали по шоссе, кипящему народом. Извозчик мне что-то говорил, но я не понимал, с восторгом нюхал табак, а у Тверской заставы, увидав разносчика с апельсинами, остановил лошадь, схватил три апельсина, взяв деньги из промокнувшей насквозь от пота пачки новеньких кредиток. Съел сразу два апельсина, а третьим, разорвав пополам, вытер себе пылавшее лицо.

Навстречу громыхали пожарные фуры, шли наряды полиции.

В Столешниковом переулке, расплатившись с извозчиком, я тихо своим ключом отпер дверь квартиры, где все еще спали, и прямо – в ванную; напустил полную холодной воды, мылся, купался.

Несмотря на душистое мыло, все же чувствовалось зловоние. Мое разорванное, провонявшее пальто я спрятал в дрова, прошел в кабинет и через минуту уснул.

В девять часов утра я пил в семье чай и слушал рассказы об ужасах на Ходынке:

– Говорят, человек двести народу передавили!

Я молчал.

Свежий и выспавшийся, я надел фрак со всеми регалиями,

как надо было по обязанностям официального корреспондента, и в 10 часов утра пошел в редакцию. Подхожу к Тверской части и вижу брандмейстера, отдающего приказание пожарным, выехавшим на площадь на трех фурах, запряженных парами прекрасных желтопегих лошадей. Брандмейстер обращается ко мне:

– Поглядите, Владимир Алексеевич, последние пары посылаю!

И объяснил, что с Ходынки трупы возят.

Я вскочил на фуру без пальто, во фраке, в цилиндре, и помчался. Фуры громыхали по каменной мостовой. Народу полна Тверская.

Против фабрики Сиу, за заставой, повстречались две пожарные фуры, полные покойников. Из-под брезентов торчат руки, ноги и болтается ужасная голова.

Никогда не забыть это покрытое розовой пеной лицо с высунутым языком! Навстречу ехали такие же фуры.

По направлению к Москве плетется публика с узелками и кружками в руках: подарки получили!

У бегущих туда на лицах любопытство и тревога, у ползущих оттуда – ужас или безразличие.

Я соскочил с фуры: не пускают. Всемогуший корреспондентский билет дает право прохода. Я иду первым делом к наружной линии будок, которые на берегу рва, я их видел издали утром из-под насыпи. Две снесены, у одной сорвана крыша. А кругом – трупы... трупы...

Описывать выражение лиц, описывать подробности не буду. Трупов сотни. Лежат рядами, их берут пожарные и сваливают в фуры.

Ров, этот ужасный ров, эти страшные волчьи ямы полны трупами. Здесь главное место гибели. Многие из людей задохлись, еще стоя в толпе, и упали уже мертвыми под ноги бежавших сзади, другие погибли еще с признаками жизни под ногами сотен людей, погибли раздавленными; были такие, которых душили в драке, около будочек, из-за узелков и кружеч. Лежали передо мной женщины с вырванными косами, со скальпированной головой.

Многие сотни! А сколько еще было таких, кто не в силах был идти и умер по пути домой. Ведь после трупы находили на полях, в лесах, около дорог, за двадцать пять верст от Москвы, а сколько умерло в больницах и дома! Погиб и мой извозчик Тихон, как я узнал уже после.

Я сполз вниз по песчаному обрыву и пошел между трупами. В овраге они еще лежали, пока убирали только с краев. Народ в овраг не пускали. Около того места, где я стоял ночью, была толпа казаков, полиции и народа. Я подошел. Оказывается, здесь находился довольно глубокий колодец со времен выставки, забитый досками и засыпанный землей. Ночью от тяжести народа доски провалились, колодец набился доверху рухнувшими туда людьми из сплошной толпы, и когда наполнился телами, на нем уже стояли люди. Стояли и умирали. Всего было вынуто из колодца двадцать семь трупов. Между ними оказался один живой, которого только что перед моим приходом увели в балаган, где уже гремела музыка.

Праздник над трупами начался! В дальних будках еще раздавались подарки. Программа выполнялась: на эстраде пели хоры песенников и гремели оркестры.

У колодца я услышал неудержимый смех. Вынутые трупы лежали передо мной, два в извозничьих халатах, и одна хорошо одетая женщина с изуродованным лицом была на самом верху – лицо ногами измято. Сначала из колодца достали четверых мертвых, пятый был худощавый человек; оказался портной с Грачевки.

– Живой этот! – кричит казак, бережно поднимая его кверху из колодца. Поднятый шевелил руками и ногами, глубоко вздохнул несколько раз, открыл глаза и прохрипел:

– Мне бы пивца, смерть пить хотца!

И все расхохотались.

Когда мне это рассказывали, тоже хохотали.

Нашли офицера с простреленной головой. Тут же валялся револьвер казенного образца. Медицинский персонал ходил по полю и подавал помощь тем, у кого были признаки жизни. Их развозили по больницам, а трупы на Ваганьково и на другие кладбища.

В два часа я уже был в редакции, пришел в корректорскую и сел писать, затворив дверь. Мне никто не мешал. Закончив, сдал метранпажу в набор. Меня окружили наборщики с вопросами и заставили прочитать. Ужас был на всех лицах. У многих слезы. Они уже знали кое-что из слухов, но все было туманно. Пошли разговоры.

– На беду это! Не будет проку в этом царствовании! – самое яркое, что я слышал от старика наборщика. Никто не ответил на его слова, все испуганно замолчали... и перешли на другой разговор.

Метранпаж сказал:

– Надо подождать редактора!
– Наберем! Давай набирать! – закричали наборщики.
– В гранках редактор прочтет! – И десятки рук потянулись к метранпажу.

– Наберем! – И, разделив на куски, стали набирать.

Я вернулся домой пешком – извозчиков не было – и, не рассказывая подробностей пережитого, лег спать. Проснулся на другое утро в 8 часов и стал готовиться к работе. Подали «Московские ведомости», «Московский листок». О катастрофе ничего не нашел. Значит, запретили! Собрался перед работой забежать в «Русские ведомости», взять на память грядущим поколениям гранки статьи, если успели набрать. Принесли наконец «Русские ведомости». Глазам не верю: ХОДЫНСКАЯ КАТАСТРОФА – крупное заглавие, – план катастрофы и подпись «В. Гиляровский». Домашние в ужасе смотрят на меня. Замерли и смотрят. А я, свежий, прекрасно выспавшийся, чувствую себя вполне нормально. Рассказываю о своем путешествии, прежде взяв слово, чтобы меня не ругали, так как – победителей не судят! А я чувствовал себя победителем!

Входят двое: русский, Редер, корреспондент австрийской газеты, а с ним японец, корреспондент токийской газеты. Меня интервьюируют. Японец с удивлением смотрит на меня, поражается, а Редер сообщает, что «Русские ведомости» арестованы и в редакции и у газетчиков отбирают номера газеты.

Они уходят, я надеваю фрак и хочу идти. Звонок. Входят еще трое: мой знакомый, старый москвич Шютц, корреспондент какой-то венской газеты, другой, тоже знакомый, москвич, американец Смит, который мне представляет типичнейшего американского корреспондента газеты. Корреспондент ни слова по-русски, ему переводит Смит. Целый допрос. Каждое слово американец записывает.

На другой день Смит сказал, что американец послал телеграмму в 2 тысячи слов – всю мою статью, все, рассказанное мной.

Я бросился первым делом в редакцию. Там В.М. Соболевский и М.А. Саблин. Радостно меня встречают. Благодарят. На дворе шумят газетчики – получают газету для розницы, мне устраивают овацию.

– Действительно, – говорит В.М. Соболевский, – газету, как только ее роздали для разности подписчикам, явившаяся полиция хотела арестовать, но М.А. Саблин поехал к генерал-губернатору и узнал, что газету уже разрешили по приказанию свыше. Целый день допечатывали газету. Она была единственная с подробностями катастрофы.

В корреспондентском бюро меня тоже встретили овацией русские и иностранные корреспонденты. Интервьюировали, расспрашивали, осматривали, фотографировали. Художник Рубо зарисовал меня. Американцы и англичане ощупывали мои бицепсы и только тогда поверили, что все написанное – правда, что я мог вынести эту давку.

«Русская газета» – было весьма убогое, провинциального вида издание, почти не имевшее подписки, не имевшее розницы и выплакивавшее у фирм через своих голодных агентов объявления, номинальная цена которых была гривенник за строку, а фирмы получали до 70 процентов скидки.

Издавалась «Русская газета» несколько лет. Основал ее какой-то Александровский, которого я в глаза не видал, некоторое время был ее соиздателем Н.И. Пастухов, но вскоре опять ушел в репортерскую работу в «Современные известия», потратив последние гроши на соиздательство.

В 1880 году издавал газету И. И. Смирнов, владелец типографии и арендатор всех театральных афиш, зарабатывавший хорошие деньги, но всегда бывший без гроша и в долгу, так как был азартный игрок и все ночи просиживал за картами в Немецком клубе. В редких случаях выигрыша он иногда появлялся в редакции и даже платил сотрудникам. Хозяйственной частью ведал соиздатель И.М. Желтов, одновременно и книжник и трактирщик, от которого зависело все дело, а он считал совершенно лишним платить сотрудникам деньги.

– За что? У тебя фирма есть – тебя печатаем, чего же тебе еще? Ну и кормись сам.

Многие и кормились, помещая рекламные заметки или собирая объявления за счет гонорара. Ухитрялась получать от И.И. Смирнова деньги заведовавшая редакцией «Соколиха», Александра Ивановна Соколова, которой было «все все равно» и которая даже не обиделась, когда во время ее отпуска фельетонист Добронравов в романе «Важная барыня» вывел ее в неказистом виде. Добронравов в романе вставлял рекламы фирм и получал с них за это взятки.

Кормились объявлениями два мелких репортерчика Козин и Ломоносов. Оба были уже весьма пожилые. Козин служил писцом когда-то в участке и благодаря знакомству с полицией добывал сведения для газеты. Это был маленький, чистенький старичок, живой и быстрый, и всегда с ним неразлучно ходила всюду серенькая собачка-крысоловка, обученная им разным премудростям. И ее и Козина любили все. Придет в редакцию – и всем весело. Сядет. Молчит. Собачка сидит, свернувшись клубочком, у его ноги. Кто-нибудь подходит.

– Мосявка, дай лапку!

Ощетинится собака, сидит недвижимо и жестоко начинает лаять.

– Дай лапку!

Еще больше лает и злится. Все присутствующие смотрят, знают, что дальше будет, и ждут. Подходит кто-нибудь другой.

– Мосява Мосявовна, соблаговолите ножку дать, – и наклоняется к ней.

Мосявка важно встает, поворачивается к говорящему задом и протягивает левую заднюю ногу.

И это повторяется несколько раз – даже сам сумрачный И.М. Желтов улыбается. Лет десять я помнил Козина с Мосявкой.

Ломоносов был не Ломоносов, а Свистунов, бывший конторщик, горький пьяница. Что он Свистунов, почти никто не знал: Ломоносов да Ломоносов. А это прозвище он получил за то, что у него в драке когда-то был переломлен нос и торчал кончик его как-то вправо. Он давал торговые сведения и, как говорили, собирал милостыню по церквям на паперти.

В этом мне пришлось убедиться года через три после наших встреч в редакции «Русской газеты».

* * *

В темном, душном подвале анатомического театра лежало десять трупов. Исхудалые, истощенные, изломанные. Между ними лежал труп девушки лет шестнадцати. Это все жертвы катастрофы, случившейся накануне, и катастрофы странной, небывалой.

В погоне за десятикопеечной подачкой десятитысячная толпа задавила десять человек. За два дня перед этим умер московский миллионер, чайный торговец А.С. Губкин.

В день смерти вечером проходившим мимо громадного, мрачного с виду дома Губкина нескольким нищим подали по серебряной монете с просьбой помянуть усопшего. С быстротой телефона по ночлежным приютам распространился между нищими слух, что на поминаение Губкина раздают деньги пригоршнями.

Тревожно провели нищие эту ночь в ожидании подаяния, в ожидании горсти серебра на каждого. Еще затемно толпы их хлынули на Рождественский бульвар, но решетчатые железные ворота были заперты. Стучались, просили, дрожали на морозе, стоя полубосыми ногами на льду тротуара и на снегу мостовой. А народ с каждой минутой прибывал.

Сотни нищих бежали со всех улиц и переулков, и скоро десятитысячная толпа заняла проезд Рождественского бульвара от Сретенских ворот до Трубной площади. Ни прохода, ни

проезда. Толпа была словно спаянная: яблоку упасть было некуда.

Набег нищих настолько был стремителен, что полиция не успела принять никаких мер... Катастрофу не предупредили, она должна была случиться и случилась. Ворота все еще не отпирались, сунутые несколько двугривенных только зажгли толпу, каждый стремился пролезть вперед, толпа хлынула и прижала несчастных, добившихся своей цели: встать первыми у железных ворот.

В то время тротуар у этого дома был очень высок, чуть не на аршин выше мостовой. Стоявшие на мостовой равнялись головами с поясом стоявших на тротуаре. Всем хотелось быть ближе к воротам, ближе к цели. С мостовой влезали, хватаясь за платье стоявших выше, и падали вместе с ними. Кто-то вдруг из передних крикнул:

– Подавать на-чали!..

Как один человек, вся толпа подвинулась на шаг вперед. Кого-то стащили с тротуара, наступили на него, раздался страшный крик:

– Задавили!..

Толпа ломилась еще больше. Сзади давили на ворота, ближайшие от ворот, задыхаясь в давке, стремились назад, падали с высокого тротуара на мостовую, на них лезли задние, не видя, что творится впереди. Гул толпы прерывался криками о помощи и предсмертными стонами. Когда уже все свершилось, явилась полиция и казаки. Дворники били нищих палками, городовые – ножами, казаки – плетью. Эти поминки надолго у многих не изгладились из памяти, хотя рубцы уже давно зажили. Опорков и рваных шапок увезли с места давки два воза.

Это было 28 ноября 1883 года. Вскоре после этого я встретил Козина с его Мосявкой, и он сказал мне, что в числе задавленных на Рождественском бульваре был и сотрудник «Русской газеты» Свистанов-Ломоносов.

Газета давно уже прекратилась, ее в первый же год забил «Московский листок», а все-таки мне вспоминается один факт, связанный со временем моего в ней кратковременного сотрудничества.

Десятки лет в Московском зоологическом саду жил до самой своей смерти Мамлик, величайший слон в Европе, привезенный из Индии. Равного ему не было даже в берлинском зоологическом саду.

Это было огромное существо добрейшего нрава, любимец москвичей, а особенно детей, которых водили смотреть слона даже из диких в то время мест Рогожской и Таганки.

У его логовища стоял сторож – его друг, который торговал булками, и публика их покупала и собственноручно совала в хобот. Помню курьез. В числе публики, кормившей булками Мамлика, был мальчик лет восьми, который, сняв свою соломенную шляпенку, начал совать ее слону в хобот. Мамлик взял шляпу, и она в один миг исчезла у него во рту. Публика захохотала, мальчик в слезы.

– Зачем шляпу под хвост сунул! Дяденька, отдай, мама ругаться будет, – рыдая, обращался он к слону.

Милый был слон! Но бывали весенние дни, когда он бунтовал, и его заранее, видя признаки наступающей поры любви, очень крепко приковывали на специальные цепи.

В эти дни он был особенно буен и стремился все разрушать. Но раз, совсем неожиданно, такой период пришел осенью. Мамлик сорвался с цепей и вышел в задние ворота зоологического сада.

Это было после обеда. Слон зашагал по Большой Пресне, к великому ужасу обывателей и шумной радости мальчишек и бежавшей за ним толпы. Случилось это совершенно неожиданно и в отсутствие его друга сторожа. Другие сторожа и охочие люди из толпы старались, забегая вперед, вернуть его обратно, но слон, не обращая внимания ни на что, мирно шагал, иногда на минуту останавливаясь, поднимал хобот и трубил, пугая старух, смотревших в окна.

Начальство сада перепугалось и послало по трактирам отыскивать сторожа. Мирно подошел слон к заставе, остановился около полицейской будки, откуда выскочил городской и, обнажив ржавую «сеledку», бросился к великану, «делающему непорядок».

Ударил ли он шашкой слона или только замахнулся, но Мамлик остервенел и бросился за городovým, исчезнувшим в двери будки. Подняв хобот, слон первым делом сорвал навес крыльца, сломал столбы и принялся за крышу, по временам поднимая хобот и трубя. Городовой пытался спастись в заднее окно, но не мог вылезть: его толстая фигура застряла, и он отчаянно вопил о помощи.

Нашлись смельчаки, протащившие его сквозь маленькое окно не без порчи костюма. А слон разносил будку и ревел. Ревела и восторженная толпа, в радости, что разносит слон будку, а полиция ничего сделать не может. По Москве понеслись ужасные слухи. Я в эти часы мирно сидел и писал какие-то заметки в редакции «Русской газеты». Вдруг вбегает издатель-книжник И.М. Желтов и с ужасом на лице заявляет:

– Сейчас народ бежит с Пресни, там бунт. Рабочие взбунтовались, зверей из зоологического сада выпустили. Тигров!

Львов!.. Ужас! Узнай, пожалуйста, – обратился он ко мне.

Я побежал – трамваев тогда не было, а извозчики не по карману – и у зоологического сада увидел толпы народа. В саду я узнал подробности. Озаглавил заметку «Взбунтовавшийся слон на Пресне».

Заметка эта не пошла, так как цензура послала распоряжение – никаких подробностей происшествия не сообщать. Зато слухи в городе и по губерниям разошлись самые невероятные. Многие возвратились с дач, боясь за своих родных в Москве и за свое имущество.

Первая публикация появилась в Петербурге, куда я послал сообщение А.А. Соколову для «Петербургского листка», а потом его перепечатала провинция, а в Москве появились только краткие известия без упоминания о городском и разнесенной будке.

Это был в Москве первый «бунт» против полицейской власти и первый случай разгрома казенного здания – более сорока лет тому назад. И это случилось на Пресне.

«Современные известия» около двадцати лет издавал известный публицист Н.П. Гиляров-Платонов, бакалавр Духовной академии, славянофил и сотрудник И.С. Аксакова.

Было время, когда «Современные известия» были самой распространенной газетой в Москве и весьма своеобразной: с одной стороны, в них печатались политические статьи, а с другой – они с таким же жаром врывались в общественную городскую жизнь и в обывательщину. То громили «Коварный Альбион», то с не меньшим жаром обрушивались на бочки «отходников», беспокоивших по ночам Никиту Петровича Гилярова-Платонова, жившего на углу Знаменки и Антиповского переулка, в нижнем этаже, окнами на улицу.

Н.П. Гиляров-Платонов был человеком именно не от мира сего. Он спал днем, работал ночью, редко кого принимал у себя, кроме ближайших сотрудников, да и с теми мало разговаривал.

Я только один раз был у него летом, кажется, в мае месяце. Он, по обыкновению, лежал на диване; окна были открыты, была теплая ночь, а он в меховой шапке читал гранки. Руки никогда не подавал и, кто бы ни пришел, не вставал с дивана.

Тогда газета шла хорошо, денег в кассе бывало много, но Никита Петрович мало обращал на них внимания. Номера выпускал частью сам (типография помещалась близко, в Ваганьковском переулке), частью – второй редактор, племянник его Ф.А. Гиляров, известный педагог-филолог и публицист. Тоже не от мира сего, тоже не считавший денег.

Его перу принадлежал в «Современных известиях» ряд фельетонов о наших революционерах в Швейцарии – тема, по тому времени совершенно запрещенная.

Статьи эти случайно проскочили в «Современных известиях» благодаря почтению к имени Н.П. Гилярова-Платонова, но когда Ф.А. Гиляров собрал их в отдельную книгу, то пропущены они не были.

Кроме того, Федор Александрович писал недурные театральные рецензии, а затем сам издавал какой-то театральный листок, на котором прогорел вдребезги.

Самыми хлесткими сотрудниками, делавшими успех газеты в розницу, были фельетонисты П.А. Збруев, чиновник особых поручений при секретном отделении обер-полицмейстера, благодаря своей службе знавший все тайны Москвы, и Н.И. Пастухов.

Первый писал воскресные фельетоны под псевдонимом

«Берендей», а второй – московские заметки, которые подписывал «Старый знакомый».

Среди недели они также помещали мелкие наброски, в которых тот и другой «прохватывали» и «протаскивали» богачей купцов и обывателей, не щадя интимных сторон жизни, и имели огромный успех.

Москва читала взасос эти фельетоны, дававшие огромный материал для излюбленных тогда сплетен.

Надо еще заметить, что «Современные известия» были единственной газетой, не стеснявшейся пробирать всюду духовенство и даже полицию.

Большим успехом пользовались в газете обличительного характера заметки Н. Седельникова, автора нескольких романов. Его фельетон в стихах, подражание «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова, наделал много шума.

Здесь досталось буквально всем москвичам, от самых высших до самых низших, и все себя узнавали, но так было ловко написано, что придраться было нельзя. Особенно досталось крупным московским капиталистам, которых он смешал с грязью.

Если им до его фельетона жилось спокойно, то после него они стали притчей во языцех, и оказалось, что никому в Москве хорошо не жилось, кроме ростовщиков: им было все равно – пиши не пиши!

И шло бы все по-хорошему с газетой. Но вдруг поступила в контору редакции, на 18 рублей жалованья, некая барынька Мария Васильевна, и случилось как-то, что фактическое распоряжение кассой оказалось у нее в руках.

Надо сказать, что здесь и намек на какой-нибудь роман не было, а просто Никита Петрович Гиляров-Платонов доверял ей вполне и во всем. Когда же касса опустела, Марья Васильевна исчезла так же неожиданно, как и появилась.

Ее место заступил новый управляющий, неизвестно кем рекомендованный, на которого друзья и сотрудники жаловались Никите Петровичу и советовали его учитывать, но Н.П. Гиляров-Платонов отвечал всем одно и то же:

– А, оставьте эти деньги, так это все противно!

Наконец в 1887 году «Современные известия», окончательно забытые конкуренцией «Московского листка», закрылись. Вскоре умер Никита Петрович Гиляров-Платонов.

«Московский телеграф»

«Московский телеграф». Первого января 1881 года в Москве вышла самая большая по размеру и, безусловно, самая интересная по статьям и информации газета «Московский телеграф».

Редактор-издатель ее был Игнатий Игнатьевич Родзевич.

Интересные сведения и даже целые статьи, появившиеся накануне в петербургских газетах, на другой день перепечатывались в Москве на сутки раньше других московских газет, так как «Московский телеграф» имел свой собственный телеграфный провод в Петербург, в одной из комнат редакции, помещавшейся на Петровке в доме Московского кредитного общества.

В газете приняли участие лучшие литературные силы. Особенно читались фельетоны Д.Д. Минаева, пересыпавшего прозу стихами самого нецензурного по тому времени содержания.

Преобразование полиции, совершившееся тогда, Д.Д. Минаев отметил так:

Мы все надеждой занеслись —
Вот-вот пойдут у нас реформы.
И что же? Только дождались —
Городовые новой формы!

В письмах о Москве он писал:

Москва славна Тверскою,
Фискалом М.Н.К.^[3]
И нижнею губою
Актера Бурлака.

О Петербурге:

Великий Петр уже давно
В Европу прорубил окно,
Чтоб Русь вперед стремилась ходко.
Но затрудненье есть одно —
В окне железная решетка!

В этом же духе были статьи, фельетоны и корреспонденции,

не щадившие никого.

Цензура ошалела и руками разводила, потому что, к великому ее удивлению, нагоняев пока из Петербурга не было, а ответа на цензорские донесения о прегрешениях газеты Московским цензурным комитетом, во главе которого стоял драматург В.И. Родиславский, не получалось.

Говорили, что за И.И. Родзевичем стояло в Петербурге какое-то очень крупное лицо. Пошла газета в розницу, пошла подписка.

Особенно резки были статьи Виктора Александровича Гольцева, сделавшие с первых номеров газету популярной в университете: студенты зачитывались произведениями своего любимого профессора и обсуждали в своих кружках затронутые им вопросы.

«Московские ведомости» то и дело писали доносы на радикальную газету, им вторило «Новое время» в Петербурге, и, наконец, уже после 1 марта 1881 года посыпались кары: то запретят розницу, то объявят предупреждение, а в следующем, 1882, году газету закрыли административной властью на шесть месяцев – с апреля до ноября. Но И.И. Родзевич был неисправим: с ноября газета стала выходить такой же, как и была, публика отозвалась, и подписка на 1883 год явилась блестящей.

Правительство наказало подписчиков: в марте месяце газету закрыли навсегда «за суждения, клонящиеся к восстановлению общественного мнения против основных начал нашего государственного строя, и неверное освещение фактов о быте крестьян».

Незадолго перед этим цензура закрыла по тем же самым мотивам журнал «Земство», выходивший с 1880 года под редакцией В.Ю. Скалона, постоянного сотрудника «Русских ведомостей». Полоса реакции после 1 марта разыгралась вовсю!

«Русский курьер» основан был В.Н. Селезевым в 1879 году, но шел в убыток. Пришлось искать денег. Отозвался московский купец Н.П. Ланин, владелец известного завода шипучих вод и увековечивший свое имя производством искусственного «ланинского» шампанского, которое подавалось подвыпившим гостям в ресторанах за настоящее и было в моде на всех свадьбах, именинах и пирушках средней руки.

От ланинского редерера
Трещит и пухнет голова!

На его красивом, с колоннами доме у Москворецкого моста, рядом с огромной вывеской, украшенной гербом и десятком медалей с разных выставок, появилась другая вывеска: «Русский курьер» – ежедневная газета.

Под газетой стояла подпись: «Издатель – Н.П. Ланин, редактор – В.Н. Селезнев». Вид газета имела самый провинциальный. Полстраницы последней полосы занимало чуть ли не единственное объявление с гербами и медалями о шипучих водах и «ланинском» шампанском.

Н.П. Ланину, обладавшему огромным капиталом и состоявшему гласным Городской думы, спалось и виделось быть редактором.

Откупившись от В.Н. Селезнева, он с рекомендациями «хозяина столицы» князя В.А. Долгорукова и со свидетельством благонадежности от обер-полицмейстера поехал в Петербург в Главное управление по делам печати просить о назначении его редактором.

Ценз у Н.П. Ланина для редактора был весьма желательный для правительства: московский купец первой гильдии, фабрикант поддельного русского шампанского да еще рекомендованный генерал-губернатором как благонадежный обыватель.

Утвердили Н.П. Ланина редактором-издателем: пусть рекламирует шипучие воды и русское шампанское. Но и с новым редактором газета не шла.

На счастье Н.П. Ланина, в это время молодой приват-доцент по полицейскому праву, уже сверкавший на кафедре Московского университета, В.А. Гольцев «за неблагонадежность и внедрение вредных идей молодежи» был лишен кафедры.

Молодому ученому, подававшему большие надежды,

пришлось искать заработка, и он перешел в журналистику, сделавшись постоянным сотрудником «Московского телеграфа». Н.П. Ланин предложил ему организовать редакцию и быть фактическим редактором «Русского курьера», газеты без предварительной цензуры.

Принял В.А. Гольцев предложение, но только с одним условием, чтобы Н.П. Ланин совершенно не вмешивался в редакционные дела.

Н.П. Ланин согласился на все условия, и В.А. Гольцевым была составлена молодая редакция, в которую вошли и народники: Ф.Д. Нефедов, С.А. Приклонский, только что вернувшийся из ссылки, Н.М. Астырев, П.И. Кичеев, сибиряк М.И. Мишля-Орфанов, В.И. Немирович-Данченко и многие другие передовые люди того времени.

Сразу газета расцвела и засверкала к ужасу цензоров и администрации. Подписки было еще мало, но газета блестяще шла в розницу.

Н.П. Ланин ликовал, «ланинское» шампанское, усиленно рекламированное, шло великолепно и покрывало расходы по газете. Газета, как обухом по лбу, хватила и цензуру и разрешившую Н.П. Ланину газету администрацию своим неслыханным дотоле ярким либерализмом.

Подписка на 1881 год шла великолепно, особенно по провинции, жадной до всякого либерального слова.

В Москве шла только розница. Москвичам были интереснее фельетоны Збруева в «Современных известиях» и «Московский листок» Н.И. Пастухова. Эти два издания начали глумиться над «Русским курьером», называя его не иначе, как «кислощейной газетой», а самого Н.П. Ланина – липовым редактором.

Обидно это было «кандидату в городские головы». Иронизировали над ним и юмористические журналы. Особенно же его прямо-таки убила карикатура, пущенная Н.И. Пастуховым в своем юмористическом журнале «Колокольчик».

Приемная комната. У затворенной двери с надписью «Редакция» стоит, нагнувшись, как живой, Н.П. Ланин и, приложив ухо к замочной скважине, сосредоточенно слушает. А внизу подпись: «Хоть отсюда послушать, о чем толкуют мои молодцы!»

Ни в городе, ни даже в Думе ему после этого проходу не было – смеялись:

– О чем там толкуют твои молодцы?!

Эта насмешка окончательно обозлила Н.П. Ланина, и он решил неукоснительно избавиться от В.А. Гольцева, уже редактировавшего около двух лет газету, что было известно всей

Москве, и самому стать фактическим редактором.

Н.П. Ланину и тут помогло счастье. Газета действительно сверкала яркостью, и, наконец, ей дали уже второе предостережение и лишили розницы «за вредное направление, выражающееся в суждениях о существующем государственном строе и в подборе и неверном освещении фактов, чтобы возбудить смуту в умах».

Этим удобным случаем и воспользовался Н.П. Ланин, чтобы отказать В.А. Гольцеву и самому сесть в редакторское кресло, с которого, как ему казалось, удобно перебраться и в кресло городского головы.

Ушел В.А. Гольцев, ушли с ним его друзья, главные сотрудники, но либеральный дух, поддерживаемый Н.П. Ланиным, как ходовой товар, остался, только яркость и серьезность пропали, и газета стала по отношению к прежней, «гольцевской», как «ланинское» шампанское к настоящему редереру.

Провинция этого не раскусила сначала и продолжала подписываться, а Н.П. Ланин уже видел себя московским городским головой.

Сидела как-то в ресторане «Петергоф» тесная компания сотрудников одной газеты и решила вышутить Н.П. Ланина.

Один из поэтов, кажется, Петр Иванович Кичеев, на поданном ресторанном счете написал звучное стихотворение в десять строк, подходящее к моменту, весьма либеральное и вполне цензурное. Прочел его сидящим. Все были в восторге, но когда поэт показал маленький секрет написанного, все разразились неудержимым хохотом.

Потребовали конверт, почтовой бумаги, марки и при серьезном письме «уважаемому господину редактору» послали Н.П. Ланину это произведение.

На другой день стихотворение появилось в «Русском курьере» на почетном месте и – о ужас! – оказалось акростихом: «Ланин – дурак».

Пропала кандидатура в городские головы, а потом закрылся и «Русский курьер»!

«Новости дня» вышли 1 июня 1883 года, издатель их Абрам Яковлевич Липскеров в это время был стенографом у М.Н. Каткова в «Московских ведомостях».

Он числился по паспорту подмастерьем пестрядинного цеха, так как, будучи евреем, не имел права жительства в Москве. М.Н. Катков уже позднее выхлопотал ему почетное гражданство и газету.

Газета вначале была малозаметной. Редакцию трудно было отыскать – часто переезжала она с места на место, и типографии менялись то и дело: задолжали – и в другую!

Газета в первые годы шла слабо, печаталось две тысячи экземпляров, объявлений платных почти не было, кредита никакого, бумагу покупали иногда на один номер, а назавтра опять выворачивайся, опять занимай деньги на бумагу.

Сотрудникам платили по грошам и то редко наличными, но никто не уходил, – голодали, да работали. Сам Абрам Яковлевич был очень мил и симпатичен, его бедность была налицо, и всякий старался помочь ему, а он надеялся на успех и сыпал обещаниями:

– Вот пойдет газета – тогда другое дело! Всех сотрудников обеспечу, ничего не пожалею. Разве я не отдаю теперь последнее?

Действительно, он делился с сотрудниками последним.

В «Новостях дня» я за все время их существования постоянно почти не работал, но первые годы по усиленной просьбе А.Я. Липскерова помочь ему давал иногда интересный материал, и он действительно платил, как умел.

Мне как-то причиталось получить сорок рублей с редакции.

– Нет ни копейки! Повесь меня вот на ламповый крюк и бей палкой, может быть, червонцы из меня посыплются! – заявил мне А.Я. Липскеров.

– Абрам Яковлевич, да мне надо штаны и пальто купить!

– Ну вот, давно бы так и говорил! На, покупай! – и написал мне письмо в магазин готового платья «Аронтрихера» на Петровке, чтобы за счет редакции отпустили товару на сорок рублей.

С магазином А.Я. Липскеров расплачивался объявлениями, а магазин отпускал сотрудникам готовое платье из скверного, гнилого, линючего лодзинского материала.

Иногда приходилось нам получать и наличными, но всегда одним и тем же способом, памятуя одиннадцатую заповедь: не зевай! По крайней мере, так было, когда крохотная редакция и

такая же контора помещались при квартире А.Я. Липскерова, на углу Тверской и Газетного переуллка, в старинном доме Шаблыкина, в нижнем этаже, имея общий вход с улицы рядом с каким-то портным, изобразившим вместо вывески огромные жестяные ножницы.

Тогда то и дело повторялись стереотипные сценки: приходит сотрудник или заведующий конторой к милейшей барышне:

– Елена Евсеевна, дайте в счет пять рублей.

Она открывает кассу и показывает мелочь:

– Около рубля наберется. Погодите, может быть, что-нибудь с объявлений наберит, только не прозевайте, а то Абрам Яковлевич все бегаёт, справляется.

И в этот момент отворяется дверь, появляется в клетчатом старом халате А.Я. Липскеров:

– Как дела, Елена Евсеевна?

– Ничего нет.

– За деньгами? – обращается он к сотруднику.

– Надо бы!

– Ну вот полакомься! – И сует в руку конфету в бумажке.

– Спасибо!

– Пойдем ко мне! – И ведет в квартиру. А там стол накрыт, сидит молодая красивая его жена, кругом толпа детишек и кое-кто из сотрудников. На столе самовар, огурцы и огромное блюдо картофельного салата. Сидят, закусывают, чай пьют, иногда водочки поставят.

А.Я. Липскеров то и дело исчезает в контору, возвращается и пьет чай или жуёт колбасу. Через полчаса срочно нуждавшийся в деньгах сотрудник прощается и идет в кассу.

– Елена Евсеевна!

– Ну и прозевали. Абрам Яковлевич два раза все обобрал. Я говорила, не зевайте, вот и позавтракали! У нас знают, когда угостить!

Была ли Елена Евсеевна в заговоре с хозяином – вопрос оставался открытым.

Занятый постоянной работой в «Русских ведомостях», я перестал бывать у А.Я. Липскерова. Знаю, что он переживал трудные дни, а потом, уже когда на него надели судебные пристава, к нему, на его счастье, подвернулся немец типографщик, дал взаймы на расплату семь тысяч рублей, а потом у него у самого типографию описали кредиторы...

Но эти семь тысяч спасли А.Я. Липскерова. Вообще ему везло. Затеяв издание газеты, он не задавался никакими высокими идеями, а смотрел на газету как на коммерческое дело с конечной целью разбогатеть по примеру Н.И. Пастухова, а что писалось в

газете, его занимало мало. Его интересовали только доходы.

В первое время редактором была А.И. Соколова, из закрывшейся «Русской газеты», а секретарем – провинциальный журналист Е.А. Валле де Барр. Сам А.Я. Липскеров был малограмотен. Он писал «одна ножница», «пара годов» и т.п.

Редакция состояла из фактического редактора А.И. Соколовой, секретаря Валле де Барра и нескольких мелких сотрудников.

А.И. Соколова – образованная вполне, литературная дама, в прошлом воспитанница Смольного института, много лет работала в разных изданиях, была в редакции все.

Она была родная мать В.М. Дорошевича, но не признавала его за своего сына, а он ее за свою мать, хотя в «Новостях дня» некоторое время он служил корректором и давал кое-какие репортерские заметки.

Никто не знал об их родстве. В.М. Дорошевич одним из первых своих псевдонимов взял себе «Сын своей матери».

У А.И. Соколовой, или, как ее звали, у «Соколихи», были сын Трифон, поразительно похожий на В.М. Дорошевича, только весь в миниатюре, и дочь Марья Сергеевна, очень красивая барышня, которую мать не отпускала от себя ни на шаг. Трифон Сергеевич, младший, и Марья Сергеевна были Соколовы, а старший – Влас Михайлович – Дорошевич.

Эту тайну никто не знал, и только много лет спустя Влас Михайлович сказал как-то мне, что его в детстве еще усыновил московский пристав Дорошевич.

Это было уже тогда, когда мать была в Петербурге и работала в «Петербургском листке» и в «Историческом вестнике».

Трифон окончательно спился, обитал в плохой квартирке на Сретенке в Стрелецком переулке, куда я не раз носил ему деньги для уплаты за квартиру по просьбе Александры Ивановны, писавшей мне об этом из Петербурга.

Кроме того, деньги впоследствии Трифону посылал и Влас Михайлович.

Трифон вскоре умер, а затем умерла и Александра Ивановна.

Она долго работала после «Новостей дня» в «Московском листке», писала маленькие фельетончики и романы под псевдонимом «Синее домино».

Псевдоним этот – отзвук какого-то ее личного романа дней юности в Петербурге, в котором было замешано одно очень крупное лицо.

Она мне что-то рассказывала об этом. Помню, что она происходила из какой-то известной дворянской фамилии и уже в Москве вышла замуж за Соколова, повенчавшись после рождения

В.М. Дорошевича.

Соколов тоже принадлежал отчасти к журнальному миру и был живой портрет Дорошевича, один из представителей того мирка, которому впоследствии присвоили наименование «богема».

Самым ярким сотрудником первых лет издания «Новостей дня» был Гурлянд, сперва студент, а потом приват-доцент, а вскоре и профессор административного права Демидовского лицея в Ярославле.

Гурлянд писал под псевдонимом «Арсений Гуров» хлесткие злободневные фельетоны, либеральные, насколько было возможно либеральничать газете, выходившей под жестокой цензурой, а также писал большие повести два раза в неделю.

А.Я. Липскеров очень дорожил талантливым сотрудником, хотя цензура считала его ультракрасным.

И кто бы мог подумать, что из ультракрасного молодого писателя вырастет «известный Гурлянд» – сотрудник официозных изданий. В Ярославле в это время был губернатором, впоследствии глава царского правительства, Штюмер, напыщенный вельможа.

Франтоватый, красивый, молодой приват-доцент сделался завсегдатаем губернаторского дома, и повторилась библейская история на новый лад: старый Пентефрий остался Пентефрием, жена его, полная жизни, красивая женщина, тоже не изменилась, но потомок Иосифа Прекрасного не пошел в своего библейского предка...

Перевели Пентефрия к фараонову двору и самую что ни на есть высшую должность дали ему: после фараона он самым что ни есть первым человеком в стране стал, а Иосиф Прекрасный сделался его первым помощником в делах управления страной. Штюмер стал председателем совета министров, а Гурлянд его вторым «я». Арсений же Гуров, конечно, растаял и исчез со страниц «Новостей дня».

Писал в этой газете в начале литературной юности А.П. Чехов, писал А.В. Амфитеатров и, кажется, даже Вас. Ив. Немирович-Данченко. Детей А.Я. Липскерова репетировал бывавший часто у Чехова студент Н.Е. Эфрос, он и уговорил Чехова дать в газету повесть, которая и была напечатана в нескольких номерах «Новостей дня».

Вскоре Соколова и Валле де Барр перешли в «Московский листок», и редактировать газету стал А.П. Лансберг, редактор закрывшегося вскоре после его ухода «Голоса Москвы».

Талантливый беллетрист и фельетонист, он сумел привлечь сотрудников, и газета двинулась. После А.П. Лансберга

редактором стал Н.Е. Эфрос, а затем А.С. Эрманс, при котором многие из сотрудников покинули газету.

Позднее А.С. Эрманс редактировал крупную и бойко шедшую газету в Одессе, но и здесь его постигла неудача.

В конце девяностых годов «Новости дня» имели огромный успех и свою публику. Их читала интеллигенция, «цивилизованное» купечество, театральная и бульварная публика.

В газете появился В.М. Дорошевич со своими короткими строчками, начавший здесь свой путь к славе «короля фельетонистов». Здесь он был не долго. Вскоре его пригласил Н.И. Пастухов в «Московский листок», а потом В.М. Дорошевич уехал в Одессу и в свое путешествие на Сахалин.

На счастье А.Я. Липскерова приехал из Одессы маленький репортерик, одетый более чем скромно: Семен Лазаревич Кегулихес, впоследствии взявший фамилию Кегульский, – и начал ставить в «Новостях дня» хронику.

С год проработал он, быстрый и неутомимый, пригляделся, перезнакомился с кем надо и придумал новость, неслыханную в Москве, которая ему дала деньги и А.Я. Липскерова выручила. С.Л. Кегульский первый ввел практикуемые давно уже на Западе «пюблисите», то есть рекламы в тексте за большую плату.

Дело пошло. Деньги потекли в кассу, хотя «Новости дня» имели подписчиков меньше всех газет и шли только в розницу, но вместе с «пюблисите» появились объявления, и расцвел А.Я. Липскеров. Купил себе роскошный особняк у Красных Ворот. Зеркальные стекла во все окно, сад при доме, дорогие запряжки, роскошные обеды и завтраки, – все время пьют и едят. Ложа в театре, ложа на скачках, ложа на бегах.

Всегда узнавалась издали ложа А.Я. Липскерова по куче богато одетых его детей. Но этого было ему мало. Завел свою скаковую конюшню.

Как-то Н.И. Пастухов, за обедом у Тестова просматривая «Новости дня», указал на объявление портновской фирмы Мандля в полстраницы и сказал:

– Штанами плотють!

В довершение всего А.Я. Липскеров стал спортсменом. Он держал около тридцати скаковых лошадей, которые классные призы выигрывали редко.

Его гораздо больше привлекала слава знаться с высшим обществом, и он любил заседать в членской беседке павильона наряду с графами и князьями.

Огромная конюшня, обнесенная забором, была в виду у всех на Ходынке, рядом со скаковым кругом. Расход был огромный, лошади, конечно, себя не оправдывали, и на содержание их не

хватало доходов от газеты. Пошли векселя.

Как-то А.Я. Липскеров пригласил осмотреть конюшни и сделал мне выводку лошадей.

Когда я пересмотрел лошадей, он гордо сказал:

– Ну, как? Только правду говори!

– Вот что я тебе, Абрам, скажу по-дружески: послушайся меня и, если исполнишь мой совет, то будешь ты опять богат. Вот у тебя хлыст в руках, прикажи сейчас же отпереть все конюшни и всех до одной лошадей выгони в поле, ворота запри, а сам на поезд на два месяца в Крым. Иди и не оглядывайся!

Ошалел А.Я. Липскеров и даже обиделся. Прошло года три. «Новости дня» опять в долгу, лошадей кредиторы с аукциона продали. Встречаю его, он как-то весь полинял.

– Следовало бы тебя послушать, богат был бы, – сказал он, хлопнув меня по плечу и улыбаясь.

«Московский листок». Немного сейчас – в двадцатые годы XX века – людей, которые знают, что это за газета. А в восьмидесятые годы прошлого столетия «Московский листок» и в особенности его создатель – Николай Иванович Пастухов были известны не только грамотным москвичам, но даже многим и неграмотным; одни с любопытством, другие со страхом спрашивали:

– А что в «Листке» пропечатано?

Популярность «Московского листка» среди москвичей объяснялась не только характером и направленностью издания, но и личностью издателя, крепко державшего в руках всю газету.

Он и мне запомнился очень характерными для него как человека особенностями, которые делали его фигуру необычайно колоритной для газетной Москвы того времени.

«Московский листок» – создание Н.И. Пастухова, который говорил о себе:

– Я сам себе предок!

Это – яркая, можно сказать, во многом неповторимая фигура своего времени: безграмотный редактор на фоне безграмотных читателей, понявших и полюбивших этого человека, умевшего говорить на их языке.

Безграмотный редактор приучил читать безграмотную свою газету охотнорядца, лавочника, извозчика, трактирного завсегдатая и обывателя, мужика из глухих деревень.

Мало того, что Н.И. Пастухов приучал читать газету, – он и бумагу для «Листка» специальную заказывал, чтобы она годилась на курицу.

Из-за одного этого он конкурировал с газетами, печатавшимися, может быть, на лучшей, но негодной для курицы бумаге, даже это было учтено им!

Интересовался Н.И. Пастухов для своего «Листка» главным образом Москвой и Московской губернией.

– С меня Москвы хватит, – говорил он.

Интересовался также городами, граничащими с ней, особенно фабричными районами. Когда он ездил на любимую им рыбную ловлю, то в деревнях и селах дружил с жителями, каким-то чутьем угадывая способных, и делал их своими корреспондентами.

– Да я малограмотный!

– На что мне твоя грамотность. У меня на то корректора есть. Ольга Михайловна все поправит! Ты только пиши правду,

соврешь – беда будет!

И давал в кратких словах наставление, что и как писать.

– Вот ежели убийство или что другое такое крупное, сам в Москву приезжай, разузнавши все обстоятельно, что говорят и что как, а на дорогу и за хлопоты я тебе заплачу!

И получались от новых корреспондентов очень интересные вещи, и почти ни один никогда не соврал.

Н.И. Пастухов действительно не жалел денег на такие сообщения и получал сведения вне конкуренции.

Для распространения подписки в ближайших городах он посылал своих корреспондентов.

– Разнюхай там, о чем молчат!

Мое знакомство с Н.И. Пастуховым произошло в первых числах августа 1881 года в саду при театре А.А. Бренко в Петровском парке, где я служил актером. В этот вечер я играл в «Царе Борисе» Хлопко и после спектакля с Н.П. Кичеевым, редактором «Будильника», вдвоем ужинали в саду.

– Здравствуйте, Николай Петрович!

И, поздоровавшись с Н.П. Кичеевым, подошедший человек, очень похожий на писателя Писемского, сел за стол и протянул мне руку:

– Здравствуй!

Н.П. Кичеев нас познакомил:

– Пастухов Николай Иванович, редактор «Московского листка», и актер Гиляровский.

– Чего играешь? – спросил меня Николай Иванович.

– А вот сейчас атамана играл, – пояснил Н.П. Кичеев.

– Хорошо! Здорово ты их за шиворот потрянул!

Потом, закуривая, сказал:

– Ты бы что-нибудь написал в «Листок».

– Не знаю, что написать!

Н.П. Кичеев заметил:

– Стихи пишет. Хорошие стихи, я в «Будильник» взял.

– Ну, вот стихи давай, а то театральные анекдоты.

– Это могу! Я их много знаю.

– Ну и пиши...

Николай Иванович оглядел меня.

– Чего это ты в высоких сапогах?

– Да так, по привычке!

На другой день я послал несколько анекдотов, которые и были напечатаны в ближайшем номере под рубрикой «Записки театральной крысы».

Уже в первый год издания «Московский листок»

заинтересовал Москву обилием и подробным описанием множества городских происшествий, как бы чудом на другой день попадавших на страницы газеты.

В газете наряду со сценами из народного быта печатались исторические и бытовые романы, лирические и юмористические стихи, но главное внимание в ней уделялось фактам и событиям повседневной московской жизни, что на газетном языке называлось репортажем.

Н.И. Пастухов, узнав от Кичеева и Андреева-Бурлака кое-что из моего прошлого, а главное, его подкупила георгиевская ленточка, со свойственным ему газетным чутьем заметил, видимо, во мне, как он впоследствии назвал, – тягу к репортажу.

Вскоре после знакомства Н.И. Пастухов усадил меня на извозчика и начал возить по разным местам Москвы и знакомить с людьми, которые были интересны для газеты.

Я видел, как он добывал сведения, как ловко задавал умелые вопросы, рассказывал мне о каждом уголке, где мы бывали, рассказывал о встреченных людях, двумя словами, иногда неопровержимо точно определяя человека.

В саду «Эрмитаж» как-то к нам подошел щеголевато одетый пожилой, худенький брюнет с бриллиантовым перстнем и протянул с любезными словами Н.И. Пастухову руку. Тот молча подал ему два пальца и, отвернувшись, продолжал разговаривать со мной. Брюнет постоял и немного конфузливо отошел от стола.

– Николай Иванович, кто это?

– Просто сволочь!..

И ни слова больше.

Позднее я узнал, что это один из ростовщиков популярного антрепренера М.В. Лентовского. Он держал для видимости довольно приличный винный погребок и гастрономический магазин, а на самом деле был шулер и ростовщик. От одного из таких же типов, тоже шулера, я узнал, что брюнет до этого, имея кличку Пашки-Шалуна, был карманником у Рязанского вокзала, а позднее работал по этим же делам в поездах. Я об этом рассказал Н.И. Пастухову.

– Знаю, было! – ответил он.

Николай Иванович Пастухов, как я уже сказал, был одним из ярких, чисто московских типов за последние полстолетия. Только своеобразная, своебытная торговая Москва могла создать такое явление, каким был этот издатель.

Тридцать лет я был близко знаком с Н.И. Пастуховым и благодаря ему самому и близким к нему людям достаточно хорошо знал его прошлое.

За тридцать лет он не переменялся сам в себе до мелочей, даже и в то время, когда стал из голодного репортера благодаря своей газете миллионером.

– В жилу попал, – говорило купечество, видя, как Николаю Ивановичу газета дает ежегодно сотни тысяч барыша.

Действительно, Н.И. Пастухов знал всю подноготную, особенно торговой Москвы и московской администрации. Знал, кто что думает и кто чего хочет. Людей малограмотных, никогда не державших в руках книгу и газету, он приучил читать свой «Листок».

В 1881 году ему было разрешено издание газеты, а первого августа этого года вышел первый номер «Московского листка».

В «Будильнике» предварительно появилась следующая карикатура: по Тверской едет на рысаке господин в богатой шубе, с портфелем под мышкой – портрет Н.И. Пастухова, а на спинке саней надпись: «Московский листок». Под карикатурой подписано: «На своей собственной...»

С гордостью Н.И. Пастухов показывал этот номер своим знакомым:

– На своей собственной!

Человек, выбившийся из ничего, загнанный, вечно нуждающийся в копейке, и вдруг...

– На своей собственной! Редактор своей газеты!..

– Вот я им покажу, чего я стою, – говорил Н.И. Пастухов по адресу людей, издевавшихся над его нуждой.

И показал!

Человек огромной силы воли, за год перед этим никем не признаваемый, при полном отсутствии воспитания и образования, совершил почти невозможное.

Трудно было думать, что через несколько лет после издания своей газеты этот человек будет гостем на балу у президента Французской республики господина Карно во время франко-русских торжеств в Париже!

Мещанин города Гжатска Смоленской губернии, служивший во время крепостного права подвальным и поверенным при винных откупах, он уже искал света, читал, что попадало под руку, и писал стихи.

Я бережно храню библиографическую редкость – книжку в 48 страниц: «Стихотворения из питейного быта и комедия „Питейная контора“, сочинение Николая Пастухова. Москва, 1862 год».

Комедия жестоко обличительная. В ней только и есть грабители – купцы, сплошь взяточники крупные власти и горькие пьяницы-чиновники.

Только в 1862 году, в первый год после уничтожения

крепостного права, и могла проскочить такая книжка.

Даря мне книжку, Н.И. Пастухов сказал:

– Во как мы писали! Поди-ка пошли ее теперь в цензуру – в Сибирь сошлют!

Всю свою душу, все свои беды и невзгоды вылил автор-самоучка в немудрых стихах, давая картинки своей трудной жизни:

С квартиры выгнали, в другую не пускают:
Все говорят, что малый я пустой,
Срок паспорта прошел, в полицию таскают.
Отсрочки не дают без денег никакой...
Теперь сию один я на бульваре
И думаю, где мне ночлег сыскать.
Одной копейки нет в моем кармане,
Пришлось последнее продать...

Но энергичная натура не поддавалась нужде, и он верил в свое счастье:

Я думаю, когда-нибудь
Должна же радость проглянуть!..

Но эта радость долго не приходила. В стихах этой же книжечки говорит Н.И. Пастухов об единственной утехе, которая скрашивала его тяжелые дни:

Люблю я летом с удочкой
Над речкою сидеть...

Рыбная ловля была единственным бессменным удовольствием Н.И. Пастухова с детства до его смерти. Не самая ловля, не добыча рыбы, а часы в природе были ему дороги.

По несколько суток, днем и ночью, он ездил в лодке по реке, тут же спал на берегу около костра, несмотря ни на какую погоду. Даже по зимам уезжал ловить и в двадцатиградусные морозы просиживал часами у проруби на речке.

Много рассказов написал он во время своих поездок по рекам и озерам. Первое стихотворение в его книжке – о рыбной ловле. Книжка и есть начало его будущего благосостояния, начало и «Московского листка».

Н.И. Пастухов открыл в Москве около Арбата небольшое

«питейное заведение», и с этого момента начинается его перерождение.

Широкий по натуре, добрый и хлебосольный, Н.И. Пастухов помогал студенческой молодежи, которая кормилась, дневала и ночевала у него.

В числе их были, между прочим, студент Ф.Н. Плевако, потом знаменитый адвокат, А.М. Дмитриев – участник студенческих беспорядков в Петербурге в 1862 году и изгнанный за это из университета (впоследствии писатель «Барон Галкин», автор популярной в то время «Падшей») и учитель Жеребцов.

Большую часть своего времени вместо торговли Н.И. Пастухов проводил с ними, слушая, что они читают, читал сам.

И, конечно, проторговался, но никогда не падал духом. В его банкротстве было его будущее счастье. Жеребцов и Дмитриев работали тогда в только что начавших издаваться Н.С. Сковрцовым «Русских ведомостях».

Н.И. Пастухов благодаря своим широким знакомствам добывал репортерские сведения и, написав, как умел, на клочке бумаги, передавал их для газеты. Сведения эти переделывались и печатались.

При упорном труде Н.И. Пастухов выучился сам в конце концов писать заметки о происшествиях, добывая их у полиции и у трущобников, и вскоре сделался первым и единственным московским репортером, которому можно было верить безусловно.

Он бросил свою торговлю и весь отдался газетному делу. Ради какого-нибудь удавившегося портного в Рогожской или пожара в Марьиной Роще Н.И. Пастухов бегал десятки верст пешком и доставлял сведения, живые и точные.

Потом в газете «Современные известия» он стал писать заметки и фельетоны. Одновременно с этим А.А. Соколов, редактор «Петербургского листка», пригласил Н.И. Пастухова сотрудничать в своей газете, где он и писал «Письма из Москвы», имевшие большой успех.

«Современные известия» стали командировать его на Нижегородскую ярмарку, откуда он доставлял обстоятельные торговые сведения и разные статьи. Статьи, обличавшие ярмарочные безобразия, читались нарасхват и обратили на автора внимание нижегородских губернаторов, в том числе и градоначальника Н.П. Игнатьева.

Когда последний в мае 1881 года был назначен министром внутренних дел, Н.И. Пастухов, учтя впечатление, которое он произвел на Н.П. Игнатьева, обратился к нему с ходатайством о разрешении издавать в Москве ежедневную газету.

Ходатайство было удовлетворено, разрешение получено, и Н.И. Пастухов с помощью богатого купца-писчебумажника, давшего денег «на первое обзаведение», начал издание «Московского листка».

Н.И. Пастухов к газетной работе относился строго и жестоко разносил репортеров, которые делали ошибки или недомолвки в сообщениях.

– Какое же это самоубийство, когда он жив остался?! Врешь все! – напустился раз Н.И. Пастухов на репортера С.А. Епифанова, который сообщил о самоубийстве студента, а на другой день выяснилось, что это было только покушение на самоубийство.

– Жив, а ты самоубийство!

– Да как же, Николай Иванович, его замертво в больницу увезли, только к утру он стал подавать признаки жизни!

– А ты пойди и пощупай. Если остыл, тогда и пиши: самоубийство! В гроб положат – не верь. Вон червонные валеты Брюхатова в гроб положили, а как понесли покойника, с духовенством, на Ваганьково мимо «Яра», он выскочил из гроба да к буфету! Мало ли что бывает!

Репортеров он ценил больше всех других сотрудников и не жалел им на расходы, причем всегда давал деньги сам лично, не проводя их через контору, и каждый раз, давая, говорил:

– Это на расходы! Никому только не говори!

По душе это был добрейший человек, хотя нередко весьма грубый. Но после грубо брошенного отказа сотруднику в авансе призывал к себе и давал просимое.

– Николай Иванович, у меня вчера сын родился, – докладывает сотрудник А.М. Пазухин, собиравшийся просить аванс.

– Я здесь ни при чем!

– Авансом бы мне пятьдесят рублей. Ведь расходы, новорожденный!

– Сами виноваты! Мне какое дело? Ничего не дам! – И начинает ходить по кабинету быстро-быстро. Потом остановится: – Ступайте в контору и скажите, что я велел дать 25 рублей.

– Пятьдесят бы!

В конце концов Н.И. Пастухов смягчался, начинал говорить уже не вы, а ты и давал пятьдесят рублей. Но крупных гонораров платить не любил и признавал пятак за прозу и гривенник за стихи. Тогда в Москве жизнь дешевая была. Как-то во время его обычного обеда в трактире Тестова, где за его столом всегда собирались сотрудники, ему показали сидевшего за другим столом поэта Бальмонта.

– Пишет стихи? – спросил он.
– Да, Николай Иванович, прекрасные стихи пишет.
– Федя, – обратился он к своему редактору Ф.К. Иванову, – чего же он у нас не пишет! Позови его! Пусть пишет!
– Да он дорог.
– Все равно. Пускай пишет. Уж ежели я сказал, чтоб писал, так, стало быть, денег не жалею!
– Ведь он за стихи по рублю за строку берет, – сказал кто-то из собеседников.
– По рублю? За строку?
– Да! Ну вот, видите, и не годится!
Но Николай Иванович не смутился и обратился к Ф.К. Иванову:

– Федя, скажи ему... пусть напишет... так строчки три. Мы заплатим по рублю.

Бывали случаи, что Н.И. Пастухов действительно платил своим сотрудникам, и очень крупно.

Когда он издавал свой журнал «Гусляр», то А.П. Полонскому и А.Н. Майкову он платил по 100 рублей за стихотворение, крупно также платил известному тогда поэту Л.Н. Граве, переводчику Леопарди.

Как-то сидела в редакции «Гусляра» компания, в которой был и Л.Н. Граве. Говорили о стихах Леопарди. Входит Н.И. Пастухов и садится. Л.Н. Граве обращается к нему, как бы продолжая наш разговор:

- Николай Иванович, а вы что скажете о Леопарди?
- Чего?
- Что вы скажете о Леопарди?
- Что сказать? Зверь как зверь!

Н.И. Пастухов был иногда очень откровенен и никогда не любил рисоваться. Раз как-то «хозяин столицы» князь В.А. Долгоруков спросил его:

- Как идет ваша газета?
- Слава богу, ваше сиятельство, кормимся!

Тогда на Н.И. Пастухова набросились за эти слова сотрудники либеральной печати, говоря, что подобный ответ унижает достоинство журналиста.

– Ну что ж! И кормимся! А вы-то что ж, даром в своей газете работаете? Тоже кормитесь, да не одним гонораром, а еще за проведение идей с банков берете. Чья бы корова мычала, а уж ваша-то бы молчала!

Ставши миллионером, он не менял своих привычек, так же репортерствовал сам, как и прежде, и добывал такие сведения, которых добыть никто не мог.

Во время коронации 1896 года он поручил своим сотрудникам во что бы то ни стало добыть заранее манифест, чтобы первому его опубликовать в своей газете.

Ни репортеры, ни чиновники не могли этого сделать, даже никто не мог узнать, где он печатается, так как это все велось в строжайшей тайне.

Н.И. Пастухов, рыскавший целый день, дознался, что манифест печатается в Синодальной типографии, на Никольской. Он познакомился с курьерами и околачивался все время в швейцарской и ждал, когда повезут отпечатанный манифест во дворец.

Наконец, начали выносить крепко завязанные пачки, чтоб грузить в присланную за манифестом коляску с придворным и лакеем на козлах.

– Достань-ка, братец, из пачки парочку манифестиков, на память хочется в семье иметь. – И сунул в руку двадцатипятирублевку.

Через минуту два экземпляра манифеста были в кармане Николая Ивановича, а через час газетчики и мальчишки носились с особым приложением к «Московскому листку» и продавали манифест на улицах за сутки до обнародования в других газетах.

Н.И. Пастухов ликовал: не столько наживе радовался, сколько ловкости репортерской и редакторской.

– Мы первые!

А на другой день струсил: его вызвали к министру.

– Я у вас не буду спрашивать подробностей, каким путем вы ухитрились добыть манифест, ответьте только на один вопрос: легальным путем или нет вы добыли манифест?

– Легальным, ваше высокопревосходительство, двадцать пять рублей на чай дал!

«Московский листок» сразу приобрел себе такую репутацию, что именитое и образованное купечество стыдилось брать в руки эту газету, никогда на нее не подписывалось, но через черный ход прислуга рано утром бегала к газетчику и потихоньку приносила «самому» номер, который он с опаской развертывал и смотрел главным образом рубрику «Советы и ответы».

– Уж не прохватил ли меня этот!

Радовался, если уцелел, а прохватили кого-нибудь из знакомых.

Каждый номер газеты являлся предметом для разговоров.

– И откуда эта ищейка все разнюхает, всю подноготную вывернет? – удивлялись они.

– Посмотрим, кажется, говорят, опять сегодня Гаврила

Гаврилыча разделал.

– Это вчера было и всего две строчки, написал без имени и фамилии, а как влил, наизусть помню:

Пред совестью хозяина Пассажа
Пас сажа.

Половой приносил сидящим в трактире именитым посетителям «Листок», и начиналось вслух чтение «Раешника».

«Извольте видеть, ходит мимо красавец почтенный, мужчина степенный, усы завиты, бачки подобрты, глядит молодцом, барином, не купцом. Ходит по Кузнецкому мосту, ищет денег приросту, с первого числа, грит, удружу, на всех по полтыщи наложу, мы им наживать даем, значит, повысим за наем.

Ходит посвистывает, книжечку перелистывает, адреса ищет, барыни, раскрасавицы, сударыни, денег, грит, пообещаю, любовью настраваю, что, мол, погубите, коли не любите, а там насчет денег яман, держи шире карман, надуем первый сорт».

Хохочут именитые при чтении таких строчек.

– Дальше не стоит! Эй, унеси газету, давай-ка закусить!

Половой уносит, улыбаясь, газету и смеется со своими товарищами на кухне.

– Про Солодовникова процыганили! А как дошло дело до них, до самих фабрикантов, и газету велели унести! Небось, дома уж каждый прочитал, каждому подходит.

А в газете писалось:

«Пожалте сюда, поглядите-ка, хитра купецкая политика. Не хлыщ, не франт, а миллионный фабрикант попить, погулять охочий на труд на рабочий. Видом сам авантажный, вывел корпус пятиэтажный, ткут, снуют да мотают, все на него работают. А народ-то фабричный, ко всему привычный, кости да кожа, да испитая рожа. Плохая кормежка, да гнилая одежка, подводит живот да бока у фабричного паренька.

А директора беспечные по фабрике гуляют, на стороне не позволяют покупать продукты, примерно хочешь лук ты – посылай сынишку забирать на книжку в заводские лавки, там, мол, без надбавки. Дешево и гнило!

А ежели нутро заговорило, не его, вишь, вина, требует вина, тоже дело табак, беги в фабричный кабак. В другом будешь скупей, а тут на книжку пей, штучка не мудра, дадут и полведра.

А в городе хозяин ходит, как граф, пользу да штраф, да прибыль, провизия, значит, не в ремизе я, а там на товар процент дает хороший дивиденд, а уж при подряде своего тоже не упустим, такого Петра Кириллова запустим, что на поди! Значит,

пей да гуляй, да певиц бриллиантами надеяй, а ежели учинишь дебош, адвокат у нас хорош, это нам не в убытки, потому прибытки прытки».

И так ежедневно, в каждом номере «Листка» обязательно пробирали и купечество именитое, и мелких хозяйчиков, и думу, и земство.

«Листок», конечно, не любили, считали его шантажным. Н.И. Пастухова называли шантажистом.

Но нередко те из газетных работников, кто называл так его, приходили к Н.И. Пастухову за авансом, и он «нанимал их в сотрудники», разве только скажет цитату из его же фельетона и закончит:

– Отутюжь-ка мне двенадцать братчиков, у них что-то от вчерашней статьи насчет Земельного банка жареным запахло!

– Мне неудобно, Николай Иванович, в «Русских ведомостях» у меня есть знакомые!

– Ну, как хочешь, сам отчихвощу! Да ты что, в доле с ними? Лапку сосешь? Уж не ты ли объявления в банке для них получаешь? Принеси и нам.

– Я бы принес, Николай Иванович, да ведь вы подведете, как тогда с Гужоном было, он сдал вам объявление, а вы в том же номере и написали, что завод Гужона всю Москву-реку заразил из потайных труб нечистотами.

– Что же, меня купили объявлениями? Все равно выругаю их, кто заслуживает. Кто рыбу морит в реке, народ отравляет, я о них за объявления молчать буду?

– Ресторан «Эрмитаж» опять обижается, опять выругали, что у них в кухне грязно, а сколько он вам объявлений сдает?

– Пусть не сдает, не надо, а завтра опять его дербану!

И на другой день появляется в «Советах и ответах» следующее: «Повару Оливье на Трубу. Рябчики-то ваши куда как плохи, нельзя ли подавать посвежей. Узнает о том санитарная комиссия – протокол составит».

Эти «Советы и ответы» придумал Н.И. Пастухов, и в первый год издания они сразу двинули розницу газеты.

Каждый из торгового мира москвич покупал газету и развешивал с трепетом: «Не попался ли я?»

Все обиженные стали возмущаться, равно как и те, которые чувствовали за собой какую-нибудь вину. Многие газеты, конечно, набросились на «Листок», выражали презрение к нему, и сотрудничество в нем стало считаться зазорным.

– У них газета нейдет, они и завидуют, – говорил Н.И. Пастухов.

Н.П. Кичеев, редактировавший «Листок» с первых номеров,

как только появились «Советы и ответы», под влиянием этих разговоров отказался от редактирования и лишился большого заработка.

Многие ругали «Листок», и все его читали. Внешне чуждались Н.И. Пастухова, а к нему шли. А он вел свою линию, не обращал на такие разговоры никакого внимания, со всеми был одинаков, с утра до поздней ночи носился по трактирам, не стеснялся пить чай в простонародных притонах и там-то главным образом вербовал своих корреспондентов и слушал разные разговоры мелкого люда, которые и печатал, чутьем угадывая, где правда и где ложь.

Бывали случаи, что старались поймать Н.И. Пастухова, сообщали ложные сведения, чтоб подвести газету, много посылали анонимных писем, но его провести было трудно. Он чувствовал, где ложь и где правда.

Некоторые же, достойные внимания известия всегда посылал проверить самых опытных репортеров.

– Гляди, чтоб комар носа не подточил, тихомолом разнюхай!

Репортерам приходилось иногда идти пешком – тогда еще и конок не было – в Хамовники, или в Сокольники, или в Даниловку разнюхивать на фабрике, чем кормят рабочих, как они живут и берут ли с них штрафы.

Разузнает все репортер, принесет подробное сообщение, а Н.И. Пастухов лично переделает три-четыре строки и хватит в «Советах и ответах» провинившегося фабриканта, назвав его по приметам или по прозвищу так, что все узнают; и к суду привлечь никак нельзя.

В результате таких «Советов и ответов» часто незаконные штрафы прекращались, пища и жилище улучшались, а репортер прямо из рук Н.И. Пастухова получал за эти три-четыре строки пять, а то и десять рублей гонорара.

Кто сообщил, кто написал, – никому не известно, а главное, к суду привлечь нельзя.

Многим помогали эти «Советы и ответы», и многим попадало в них ежедневно, а больше всего тем, кто притеснял рабочих, служащих, обиженных.

«Мебельщику С-ому. На Большую Дмитровку.

Вы жалуетесь, что Вам снятся сны беспокойные, погодите – не такие еще будут сниться, если Вы только не перестанете обижать и обсчитывать своих рабочих».

«Околоточному Рабиновичу, Серпуховский участок.

Кажется, прошло то время, когда ваша братия ходила славить, блуждая по лавкам, а вы все еще это занятие не оставляете, смотрите, как бы вас за это начальство не

припугнуло», – и полиция по Москве начинает остерегаться брать взятки.

«Фабриканту Емельянычу в Бронницкий уезд. Пожалуйста, не выворачивайте кармана, раненко задумали, как бы вам в капкан не попасть!»

«В Охотный ряд Илюше Пузатому. Кормите приказчиков побольше, а работать заставляйте поменьше, сам пузо нажрал, небось!»

Смотришь, фабрикант Емельяныч не устраивает дутого банкротства, и не один Пузатый, а и другие хозяева Охотного ряда начинают больше заботиться о приказчиках.

Газету читали и читали, с каждым днем рос тираж, корреспонденции шли со всех углов, из самых глухих деревень, потому что Н.И. Пастухов умел уговаривать писать всякого, писать ему всякую новость. Учил, что и как писать.

Много и безграмотной ерунды, конечно, присылали, но Н.И. Пастухов умел извлекать интересное, и не было во всей Московской губернии ни одного трактира, где не получался бы «Листок».

«Кабацкий листок» – звали его либеральные газеты.

Одним из главных магнитов, привлекавших простодушного читателя «Листка», были ежедневно печатавшиеся в газете романы-фельетоны.

Романы шли шесть раз в неделю, а по воскресеньям шел фельетон И.И. Мясницкого, его сценки из народного или купеческого быта. И.И. Мясницкого читала праздничная публика, а романы, можно сказать, читались более широко. Каждый романист имел свои два дня в неделю. Понедельник и среда – исторический роман Опочинина, вторник и пятница – роман из высшего круга с уголовщиной «Синее домино» (псевдоним А.И. Соколовой), а среда и суббота – А.М. Пазухин, особый любимец публики, дававший постоянных подписчиков.

В контору газеты, помню, при мне пришли две старушки и заявили принимающей подписку:

– На Пазухина на полгода подпишите нас.

Многие читали только А.М. Пазухина, его незатейливые романы из мещанской и купеческой жизни, всегда кончавшиеся общим благополучием.

А.М. Пазухин писал непрерывно, круглый год, два фельетона-романа в неделю, а в тексте еще сценки.

Другие романисты менялись, появлялись романы Рудниковского (М.Н. Былов), П.М. Старицкого, украинского актера, из запорожской жизни, А.А. Соколова и другие, но А.М.

Пазухин был несменяем.

Наконец, сам Н.И. Пастухов «загремел» своим романом «Разбойник Чуркин» – тоже два раза в неделю. «Листок» так пошел в розницу, что даже А.М. Пазухина забил. Роман подписывался псевдонимом «Старый знакомый», но вся Москва знала, что это псевдоним Н.И. Пастухова.

Еще до «Листка» псевдоним «Старый знакомый» много лет появлялся в «Современных известиях» и в «Русской газете» под жестокими, обличительными фельетонами.

Этот псевдоним имел свою историю. Н.И. Пастухов с семьей, задолго до выхода своей газеты, жил на даче в селе Волынском за Дорогомиловской заставой. После газетной работы по ночам, за неимением денег на извозчика, часто ходил из Москвы пешком по Можайке, где грабежи были не редкость, особенно на Поклонной горе. Уж очень для грабителей место было удобное – издали все кругом видно.

Придорожные грабители Н.И. Пастухова никогда не трогали потому, что и по костюму видно, что денег у такого прохожего не предвидится, да, кроме того, он их то папироской угостит, то, захватив с собой бутылку водки на дачу, разопьет с ними где-нибудь в канаве.

Знали они, что он писал в газетах и подписывался – еще в «Русской газете» – «Праздношатающийся», и говорили ему шутя:

– Мотри, малай, нас не пропиши!

– Я знакомых не трогаю!

Как-то в августовскую ночь Н.И. Пастухов, закупив провизии, поехал на дачу на извозчике. На Поклонной горе ватага остановила извозчика и бросилась к пролетке, а Н.И. Пастухов сидит и курит.

– Не узнали, что ли, своего, ребята!

– А! Да это старый знакомый! Ну, поезжай...

Через день он подписал свой фельетон: «Старый знакомый», и этот псевдоним он сохранил до конца жизни.

Кроме «Старого знакомого», Н.И. Пастухов подписывал иногда свои статьи «Дедушка с Арбата» – в память, видимо, того времени, когда он, приехав в Москву, жил по разным квартирам в арбатских переулках.

Мелкообличительные статейки, состоящие из диалогов с каким-то «корнетом» и «Его благородием», он подписывал «Праздношатающийся», а заметки, за которые могла последовать, как он выражался, «волосотрепка от начальства», шли под «Не я».

– Чтобы без греха отделаться!

– Это вы писали? – спросит иногда начальство.

Или купец прохваченный привяжется:

– Это ты меня, Николай, отчихвости?

Я отвечаю с чистой совестью:

– Неграмотный ты, что ли? Видишь, напечатано: «Не я»!

– Стало быть, не ты! Врешь! А, ну-ка, побожись!

И божишься – не я писал!

Репортаж Н.И. Пастухов ценил выше всего, потому что весь интерес газеты строил на быстроте сообщений, верности факта, образности и яркости изложения.

Экстренные поручения давались им на ходу: в редакции, на улице, где придется. Редакция помещалась тогда на Софийской набережной в маленьких комнатухах нижнего этажа при типографии Д.М. Погодина, сына известного историка.

Когда редактор Валле де Барр ушел из «Листка» и уехал в Самару, где очень долго работал в газетах, его место занял Федор Константинович Иванов, который стал фактическим редактором и был им до конца своей жизни.

За ним Н.И. Пастухову можно было спокойно спать, ловить рыбу и уезжать на лето в Нижний и издавать там свою ярмарочную газету «Нижегородская почта».

Ф.К. Иванов был все. Он любил кутнуть, и даже нередко, но пока матрица не отлита, пока он не просмотрит оттиска, – из редакции не выходил. Но когда газету спускали в машину, Федор Константинович мчался на лихаче к «Яру» или в «Золотой якорь», где его уже ждала компания во главе с номинальным редактором Виктором Николаевичем Пастуховым, сыном редактора.

Раз такой пир в «Стрельне» кончился неблагоприятно. В рождественскую вьюжную ночь, когда метель была такая, что ямщику лошадей не видно, компания возвращалась на тройках и на парных извозчиках-«голубчиках». Дорогой где-то в парке потеряли В.М. Дорошевича, который ни с того ни с сего выскочил из саней и исчез в метели. Как это случилось – никто не заметил. Ночь была морозная. Около застав и по улицам горели костры, и к такому костру у Пресненской заставы подошел человек без шапки, весь обмороженный. Это был В.М. Дорошевич. Его отправили в приемный покой Пресненской части. Как он ухитрился пройти мимо бегов, мимо скачек, вьюжным Ходынским полем от Тверской заставы к Пресненской, он не помнил. Всю жизнь после этого В.М. Дорошевич страдал ревматизмом.

Редакционная компания «Листка» гуливала часто. Как-то летом, до солнышка, вышла она из загородного ресторана и увидела, что едет огромная фура для перевозки мебели, запряженная парой огромных битюгов, в ней была навалена

солома для упаковки.

– Стой! Что возьмешь сейчас нас отвезти на дачу в Царицыно? – предложил Ф.К. Иванов.

– Двадцать пять рублей!

– Ладно, поехали!

Все с восторгом приняли предложение, быстро расположились в фуре и с места уснули на мягкой соломе, проспав до самого Царицына, где всех разбудили в полдень.

Федор Константинович умел гулять, но умел и работать. Любимец типографии и сотрудников, но строгий и требовательный, он последнюю полосу прочитывал сам и как редактор и как корректор, чтобы в запятой ошибки не было.

Корректуре он доверял только в те дни, когда дежурила Ольга Михайловна Турчанинова, служившая корректоршей с самого первого номера газеты. У ней ошибок не бывало.

Как-то, в четвертом часу утра, заезжая в редакцию, вхожу в кабинет к Ф.К. Иванову и вижу: он сидит один в кабинете и хохочет, как сумасшедший.

Перед ним первый оттиск газеты из машины. Он хохочет и, ничего не говоря, тычет пальцем в напечатанную на первом месте крупным шрифтом телеграмму в две строки:

«Петербург. Высочайший вор выехал в Гатчину».

– Видел! Не дождался бы я номера из машины – и газету бы закрыли, и меня бы с Н.И. Пастуховым в Сибирь послали! В корректуре «Двор», в полосе «Двор», а в матрице буква запала!

Н.И. Пастухов ценил его и при всех затруднительных случаях обязательно обращался к нему.

У Н.И. Пастухова осталась еще с молодых лет боязнь всякого начальства, и каждому власть имущему он старался угодить всеми возможными способами, давая всякому, кому только можно, взятки: кому денег даст взаймы без отдачи, у кого ненужную лошадь купит. И у главного московского цензора Назаревского купил две дачи в Пушкине за несуразно дорогую цену.

– Да на что вам дачи в Пушкине? – спросил кто-то из своих.

– Мало ли что! И он и дачи пригодятся со временем!

– А сколько тысяч вы лишних переплатили?

– Ничего, оцелятся!

Впоследствии оказалось, что Н.И. Пастухов был прав.

Каждый год первого августа – день основания газеты – Н.И. Пастухов праздновал в Пушкине, где у него присутствовали и крупные власти и где не берущим взятки он проигрывал крупно в карты.

– Что же, тем кормятся! На казенное жалованье не

проживешь! – оправдывал он взяточников, не стесняясь с ними в обращении.

Зато неберущих боялся и разговаривать с ними не решался, посылая за себя Ф.К. Иванова:

– Федя, милый, съезди к его сиятельству! Выручи, ты уж знаешь, что сказать!

Ф.К. Иванов ехал к генерал-губернатору и выручал газету. Великим дипломатом был Федор Константинович, но раз попался.

Поздним вечером в редакции было получено от какого-то случайного очевидца известие, что между Воробьевыми горами и Крымским мостом опрокинулась лодка и утонуло шесть человек. Пользуясь знакомством с Н.И. Огаревым, бывшим в это время за обер-полицмейстера, Ф.К. Иванов, несмотря на поздний час, отправился к нему и застал полковника дома в его знаменитой приемной.

Вся стена приемной была украшена карикатурами на полицию, начиная с древнейших времен. Здесь были и лубки, и вырезки из сатирических журналов, и оригиналы разных художников.

– Дорогая коллекция. Много лет ее собираю и не жалею денег! – говаривал Н.И. Огарев.

Здесь он и встретил Ф.К. Иванова.

– Что скажете?

– Да я к вам проверить сведение. Прислали заметку о шести утонувших, правда ли это?

– Правда, утонули сегодня днем. А ну-ка, покажите заметку!

Н.И. Огарев прочел заметку и сказал:

– Все верно. Только здесь вот вставьте: «Лодка плыла от Воробьевых гор к Москве». А у вас не видно, откуда она плыла. А это важно! Понимаете? Оттуда, не отсюда!

Ф.К. Иванов сделал требуемую вставку, и заметка была на другой день напечатана.

Часа в четыре дня в редакцию «Московского листка» влетел правитель канцелярии московского губернатора, гроза всей губернии Карпенко.

– Федор Константинович, я к вам по важному делу. Губернатор Василий Степанович (Перфильев) сердится очень на газету. Что у вас за репортеры!

– В чем дело?

– У вас сегодня напечатано... Ну, на Москве-реке вчера шестеро утонувших...

– Да, напечатано.

– Напрасно: у вас написано, что оттуда, а надо отсюда.

Василий Степанович сердится!

– Ничего не понимаю! Что оттуда, что отсюда?

– Да лодка плыла туда, а не сюда. То есть не в Москву она плыла, а из Москвы. Понимаете, если она из Москвы плыла, отвечать будет московская полиция, а ежели с Воробьевых гор, так уездная полиция.

– Да ведь она плыла на самом деле оттуда, так и написано.

– А на самом деле она плыла отсюда, а написано оттуда! Теперь князь Владимир Андреевич нас тянет.

– Да мне вчера лично Н.И. Огарев сказал, что именно лодка плыла оттуда сюда, а не отсюда туда! Да еще подтвердил, что очень важно написать, что она оттуда.

– По-ни-маю! Так и доложу его превосходительству... Значит, лично полковник Н.И. Огарев! Это его штуки! Только уж вы, Федор Константинович, если еще утонут, так нас спрашивайте, а не Н.И. Огарева. Подвел он нас!

– Репортер, как вор на ярмарке: все видь, ничего не пропускай, – сказал мне Н.И. Пастухов в первые дни работы в «Листке».

С момента приглашения меня, писавшего тогда в «Русской газете» и еженедельных журналах, с назначенным фактическим редактором газеты Н.П. Кичеевым я работал в репортаже.

– Репортер должен знать все, что случилось в городе. Не прозевать ни одного сенсационного убийства, ни одного большого пожара или крушения поезда, – настойчиво поучал меня Н.И. Пастухов, целыми часами посвящая в тайны репортерства и рассказывая интимную жизнь города, которую знал в подробностях, вызывавших искреннее удивление.

Что случалось за городом, Н.И. Пастухов имел сведения от исправника и канцелярии губернатора, а меня посылал по провинции, когда там случались события, казавшиеся ему нужными для освещения в газете.

Одной из таких поездок была в Орехово-Зуево на расследование пожара на фабрике Морозова, случившегося 28 мая 1882 года.

По приезде в Орехово я узнал, что в грудах обломков и пепла на месте пожарища на фабрике найдено было одиннадцать трупов. Детей клали в один гроб по нескольку. Похороны представляли печальную картину: в телегах везли на Мызинское кладбище.

Кладбищ в Орехово-Зуеве было два: одно – Ореховское почетное, а другое – Мызинское для остальных. Оно находилось в полуверсте от церкви в небольшом сосновом лесочке, на

песчаном кургане; там при мне похоронили семнадцать умерших в больнице и одиннадцать найденных на пожарище.

Рабочие были в панике. Накануне моего приезда 31 мая в казарме № 5 кто-то крикнул: «Пожар!», и произошел переполох.

Уже после моего приезда замазанные в казармах окна порасковыряли сами рабочие и приготовили веревки для спасения.

Когда привозили на кладбище гробы из больницы, строжайше было запрещено говорить, что это жертвы пожара. Происшедшую катастрофу покрывали непроницаемой завесой.

Перед отъездом в Москву, когда я разузнал все и даже добыл список пострадавших и погибших, я попробовал повидать официальных лиц. Обратился к больничному врачу, но и он оказался хранителем тайны и отказался отвечать на вопросы.

– Скажите, по крайней мере, доктор, сколько у вас в больнице обгорелых, – спрашивал я, хотя список их у меня был в кармане.

– Ничего-с, ничего не могу вам сказать, обратитесь в контору или к полицейскому надзирателю.

– Их двадцать девять, я знаю, но как их здоровье?

– Ничего-с, ничего не могу вам сказать, обратитесь в контору.

– Но скажите хоть, сколько умерло, ведь это же не секрет.

– Ничего-с, ничего... – и, не кончив говорить, быстро ретировался.

Решил рискнуть и пошел разыскивать самого квартального. Довольно быстро я узнал, что он на вокзале, пошел туда и встретил по дороге упитанного полицейского типа.

– Скажите, какая, по-вашему, причина пожара?

– Поджог, – ответил он как-то сразу, а потом, посмотрев на мой костюм, добавил строго: – А ты кто такой за человек есть?

– Человек, брат, я московский, а ежели спрашиваешь, так могу тебе и карточку с удостоверением показать.

– А, здравствуйте! Значит, оттуда? – И подмигнул.

– Значит, оттуда! Вторые сутки здесь каталажусь... Все узнал. Так поджог?

– Поджог, лестницы керосином были облиты.

– А кто видел?

– Там уж есть такие, найдутся, а то расходы-то какие будут фабрике, ежели не докажут поджога! Ну, а как ваш полковник поживает?

– Какой?

– Как какой, известно, ваш начальник, полковник Муравьев! Ведь вы из сыскаго?

– Вроде того, еще пострашнее, вот глядите!

Захотев поозорничать, я вынул из кармана книжку с моей

карточкой и печатным бланком корреспондента «Московского листка» и показал ему.

В лице изменился и затараторил:

– Вот оно что, ну, ловко вы меня поддели! Нет, что уж... только меня, пожалуйста, не пропишите, будто мы с вами не видались, сделайте милость, – сами понимаете, дело подначальное, а у меня семья, дети...

– Даю вам слово, что я о вас не упомяну, только ответьте на мои некоторые вопросы.

Мы побеседовали, и я от него узнал всю подноготную жизни фабрики. И далеко не в пользу хозяев говорил он.

В Москву я вернулся ночью, написал корреспонденцию, подписал ее псевдонимом «Проезжий корнет» и привез рано утром Н.И. Пастухову.

Н.И. Пастухов увел меня в кабинет, прослушал корреспонденцию, сказал: «Ладно», потом засмеялся.

– Корнет? Так корнету и поверят!

Зачеркнул и подписал: «Свой человек».

– Пусть у себя поищут, а то эти подлецы купцы узнают и пакостить будут. Посмотрим, как они завтра завертятся, как караси на сковородке, пузатые! Вот рабочие, наверное, обрадуются, читать газету всасос будут, а там и сами нас завалят корреспонденциями про свои беспорядки.

Через два дня прихожу утром к Н.И. Пастухову, а тот в волнении.

– Сегодня к двенадцати генерал-губернатор, князь В.А. Долгоруков, вызывает, купцы нажаловались, беда будет, а ты приходи в четыре часа в тестовский трактир, я от князя прямо туда. Ехать боюсь!

Сотрудник «Московского листка» Герзон и я к трем часам дня сидели за трактирным столом.

Входит Н.И. Пастухов сияющий и начинает рассказывать:

– Прихожу я к подъезду, к дежурному, – князь завтракает. Я скорей на задний двор, вхожу к начальнику секретного отделения П.М. Хотинскому, – человек, конечно, он свой, приятель, наш сотрудник. Спрашиваю его:

«Павел Михайлович, зачем меня его сиятельство требует? Очень сердит?»

«Вчера Морозовы ореховские приезжали оба, и Викула и Тимофей, говорят, ваша газета бунт на фабрике сделала, обе фабрики шумят. Ваш „Листок“ читают, по трактирам собираясь толпами, на кладбище тоже все читают. Князь рассердился: корреспондента, говорит, арестовать и выслать».

Ну, я ему: «Что же делать, Павел Михайлович, в долгу не останусь, научите!»

«А вот что: князь будет кричать и топать, а вы ему только одно: виноват, ваше сиятельство. А потом спросит, кто такой корреспондент. А теперь я уже спрашиваю: кто вам писал?» А я ему говорю: «Хороший сотрудник, за правду ручаюсь». – «Ну вот, говорит, это и скверно, что все правда. Неправда, так ничего бы и не было. Написал опровержение – и шабаш. Ну, да все равно, корреспондента-то мы пожалеем! Когда князь спросит, кто писал, скажите, что вы сами слышали на бирже разговоры о пожаре, о том, что люди сгорели, а тут в редакцию двое молодых людей пришли с фабрики, вы им поверили и напечатали. Он ведь этих фабрикантов сам не любит. Ну, идите».

Иду. Зовет к себе в кабинет. Вхожу. Владимир Андреевич встает с кресла в шелковом халате, идет ко мне и сердито показывает отмеченную красным карандашом корреспонденцию.

«Как вы смеете? Ваша газета рабочих взбунтовала!»

«Виноват, ваше сиятельство, – кланяюсь ему, – виноват, виноват!»

«Что мне в вашей вине, я верю, что вас тоже подвели. Кто писал? Нигилист какой-нибудь?»

Я рассказал ему, как меня научил П.М. Хотинский. Князь улыбнулся:

«Написано все верно, прощаю вас на этот раз, только если такие корреспонденции будут поступать, так вы посылайте их на просмотр к Хотинскому... Я еще не знаю, чем дело на фабрике кончится, может быть, беспорядками. Главное, насчет штрафов огорчило купцов. Ступайте!»

Я от него опять к Павлу Михайловичу, а тот говорит:

«Ну, заварили вы кашу! Сейчас один из моих агентов вернулся. Рабочие никак не успокоятся, а фабрикантам в копеечку влетит. Приехал сам прокурор судебной палаты на место. Лично ведет строжайшее следствие. За укрывательство кое-кто из властей арестован; потребовал перестройки казарм и улучшения быта рабочих, сам говорил с рабочими, это только и успокоило их. Дело будет разбираться во Владимирском суде».

Ну, заварил ты кашу, Гиляй, сидеть бы тебе в пересыльной, если бы не Павел Михайлович! – закончил Н.И. Пастухов.

«Московский листок» сразу увеличил розницу и подписку. Все фабриканты подписались, а Н.И. Пастухов оригинал взял из типографии, уничтожил его, а в книгу сотрудников гонорар не записали – поди узнай, кто писал.

Года через три, в 1885 году, во время первого большого бунта

у Морозовых, – я в это время работал в «Русских ведомостях», – в редакцию прислали описание бунта, в котором не раз упоминалось о сгоревших рабочих и прямо цитировались слова из моей корреспонденции, но ни строчки не напечатали «Русские ведомости» – было запрещено.

Как-то Н.И. Пастухов позвал меня к себе в кабинет:

– Гляди!

На столе лежала толстенная кипа бумаги в казенного типа синей обложке с надписью: «Дело о разбойнике Чуркине».

– Вчера мне исправник Афанасьев дал. Был я у него в уездном полицейском управлении, а он мне его по секрету и дал. Тут за несколько лет собраны протоколы и вся переписка о разбойнике Чуркине. Я буду о нем роман писать. Тут все его похождения, а ты съезди в Гуслицы и сделай описание местностей, где он орудовал. Разузнай, где он бывал, трактиры опиши, дороги, притоны... В Законорье у него домишко был, подробнее собери сведения. Я тебе к становому карточку от исправника дам, к нему и поедешь.

– Карточку, пожалуй, я исправничью на всякий случай возьму, а к становому не поеду, у меня приятель в Ильинском погосте есть, трактирщик, на охоту ездил с ним.

– Ну, это лучше, больше узнаешь!

На другой день я был в селе Ильинский погост у Давыда Богданова, старого трактирщика. За чаем я ему откровенно рассказал, что приехал собрать материал об атамане Чуркине. Давыд Богданов сразу меня осадил:

– Ваську-то описывать? Какой он атаман, просто рвань, бывший фабричный от Балашова, спившийся с круга! Действительно, была у него шайчонка, грабил по дорогам, купоны фальшивые от серий печатал, – да кто у нас их не печатает, – а главное, ходил по фабрикам. Придут втроем, вчетвером; вызовет Васька хозяина: «Давай, говорит, четвертную, а то спалю». Ну, и давали, чтобы отвязаться. В поездках под Канабеевым из вагонов товар сбрасывали. Вот и все. А то – «атаман!». Просто сволочь. У меня в трактире они бывали. Только не баловал их – деньги вперед, а то и вина не дам...

Приехав в Гуслицы, я побывал в Законорье у кривого трактирщика Семена Иванова, приятеля Чуркина, побывал в доме самого Чуркина, недалеко от этого трактира, познакомился с его женой Ариной Ефимовной и дочкой.

Пошли мои странствования по Гуслицам. Гуслицы – название неофициальное. Они были расположены в смежных углах трех губерний: Московской, Владимирской и Рязанской. Здесь всегда было удобно скрываться беглым и разбойникам, шайки которых, если ловят в одной губернии, – перекочевывали рядом, в

соседнюю, где полиция другой губернии не имела права ловить. Перешагнул в другую – и недосыгаем! Гусляки ездили еще по городам собирать на погорелое с фальшивыми свидетельствами. Этот промысел много давал.

Глухое место были Гуслицы: леса, болота, а по деревням хмелевища. Тогда богородские гусляки ткали на ручных станках нанку и канаус и разводили лучший «богемский» хмель. Кроме того, славились печатанием фальшивых денег, которые стали даже нарицательными: «гуслицкими» назывались в Москве все фальшивки. Оттуда вышло много граверов. Печатали у себя серии и много лет печатали купоны от серий в 2 руб. 16 коп., которыми в 80-х годах наводнили Москву. «Дай-ка купонной машинки, попечатать надо, на базар еду», – обращались соседи друг к другу.

Н.И. Пастухов знал, куда меня посылал, и посоветовал взять револьвер:

– Всяко может быть! Меня, брат, бивали, когда пронюхивали, что я репортер. Гляди в оба!

Я бродил по деревням, знакомился, выпрашивал, а для видимости с ружьем караулил хорьков, которые водились в хмелевищах. Курьезов со мной было немало.

Пью чай в Ильинском погосте у трактирщика Богданова. Подсел к нам местный крестьянин, про которого все знали, что он имеет дома машинку и печатает купоны от серий. Дотошный мужик, рожа лукавая.

– Где же при тебе, охотничек, собачка? – вдруг спросил он у меня, и озадачил, да выручил Богданов:

– На что ему собака? Он самопугом – идет лесом, а дичина вылетает, заяц выбегает – он их и хорп! А на хмелевищах хорька бить – собака одна помеха.

И с тех пор, когда меня спрашивали о собаке, я отвечал, что охочусь «самопугом», что вполне удовлетворяло любопытных.

Исходил я все деревни, описал местность, стройку, трактиры, где бывал когда-то Чуркин, перезнакомился с разбойниками, его бывшими товарищами, узнал, что он два раза был сослан на жительство в Сибирь, два раза прибегал обратно, был сослан в третий раз и умер в Сибири – кто говорит, что пристрелили, кто говорит, что в пьяной драке убили. Его жена Арина Ефимовна законно считалась три года вдовой.

Гусляки меня хорошо принимали благодаря Богданову. Около Законорья был Спасо-Гуслицкий монастырь, фабрика купца Балашова, называвшаяся, кажется, по селу Куровскому.

Я познакомился с монастырским казначеем, отцом Памво, монахом пудов на девять веса, который мог пить сколько угодно

и когда угодно.

Как-то в ярмарочный день Памво с компанией гулял в лесу, где был ведерный бочонок водки, всякая закуска, на полянке.

Я шел с сыном Богданова, Василием, который служил писарем в Москве при окружном штабе. Это был развитой малый, мой приятель, иногда мы с ним охотились. Мы наткнулись на эту компанию и удостоились приглашения отца Памво. У Василия Богданова были все приятели: представил он и меня им как своего друга.

Не успели выпить, как подошли еще трое с гармонией.

– Костя! Иди к нам! – закричал им Памво. Подошли, одеты в поддевки, довольно чисто, но у всех трех были уж очень физиономии разбойничьи, а Костя положительно был страшен: почти саженного роста, широкий, губы как-то выдались вперед, так что усы торчали прямо, а из-под козырька надвинутой на узкий лоб шапки дико глядели на нас, особенно на меня – чужого, злые, внимательные глаза.

Сели, на гармонии заиграли. Потом еще подошли мужики, поодаль сели.

Затеялась борьба. Костя швырял противников, как я заметил, одним и тем же приемом, пользуясь своим большим ростом. Отец Памво особенно восторгался, а я не удержался и отозвался на вызов Кости.

– Ну, выходи, дьяволы! С кем на ведро схватимся?

Особенного риска не было. Я вышел. Все заорали, смеются, а Василий Богданов уговаривает меня не бороться и все шепчет: «Знаешь, кто это, знаешь?..»

Я встал – схватились, и я, не дав ему укрепиться, сразу бросил его на спину и прижал.

Под радостное и удивленное оранье бросился на меня Костя:

– Врешь, я оскользнулся, давай еще, по-другому!

– Давай!

Тут я воспользовался другим, моим любимым приемом и легко положил его в полминуты. Он встал при восторгах и криках, подошел ко мне, снял шапку, поклонился и протянул мне огромную лапищу.

Пирушка кончилась благополучно. Я с Васей Богдановым заночевал в келье у Памво, где явились и балык, и икра, и мадера. Были еще два монаха пожилых и старый служащий с фабрики Балашова. Пировали до полуночи, и тут-то я узнал, и с кем я боролся, и всю характеристику Чуркина от лиц, много лет и очень близко знавших его.

Все говорили в один голос и все одно и то же, и, что рассказали они, повторили мне впоследствии и остальные

гусляки.

Все сводилось к тому, что Васька Чуркин, бывший фабричный, пьяница, со своей шайкой грабил по дорогам и чужих и своих, обворовывал клети да ходил по хозяевам-фабрикантам по несколько раз в год.

– К нам, бывало, – рассказывал служащий Балашова, – придет с Костей и еще с кем-нибудь – всегда на эти дела втроем ходили – и требует у хозяина 25 рублей или 50, грозя спалить фабрику. Только нахальством брал, и хозяин, чтобы покойнее было, откупался. В крупных грабежах все делал Костя, но молчал, отчего Чуркин и считался атаманом. Уж и били его, бывало, когда без Кости попадется! Наконец в Сибири его добились. Избавились Гуслицы... Только теперь этот Костя посмирнее без Чуркина стал, а все-таки сразу в трех губерниях живет, везде у него притон, полиция поймать не может!

Я был в этот вечер героем дня, но меня предупредили, что если Костя в лесу встретится, прямо стрелять в него, а то убьет, не простит позора.

На другой день мы были в Законорье, у вдовы Чуркина Арины Ефимовны, которая жила с дочкой-подростком в своем доме близ трактира. В трактире уже все знали о том, что Костя осрамился, и все радовались. Вскоре его убили крестьяне в Болоте, близ деревни Беливы. Уж очень он грабил своих, главным образом сборщиков на погорелое, когда они возвращаются из поездок с узлами и деньгами.

Много сборщики набирали. Мне показывали дома с заколоченными окнами и дверями – это поехали с «викторками» и «малашками» за подаванием. «Викторками» и «малашками» называли издавна фальшивые документы: паспорта фальшивые делал когда-то какой-то Викторка, и свидетельства о сгоревших домах мастерил с печатями Малашкин, волостной писарь. Платили ему за вид на жительство три рубля, а за «малашку» – рубль.

Когда я, уже собрав достаточно сведений о Чуркине, явился к Н.И. Пастухову, он вынул из шкафа «Дело Чуркина», положил его на стол, а я выложил начерченную мною карту с названиями сел, деревень, дорог, районов, где «работал» Чуркин, отметив все разбойничьи притоны.

Очень остался доволен Н.И. Пастухов, задавал вопросы, касающиеся описания местностей, но когда я ему рассказал все отзывы, услышанные мною о Чуркине, и много еще других подробностей, характеризующих его как шпану и воришку, Н.И. Пастухов, уже ранее нарисовавший в своем воображении будущего героя по Ринальди Ринальдино, изменился в лице, его

длинные брови и волосы, каемкой окружавшие лысину, встали – признак, что он злится.

– Все они, подлецы, врут на него! И ты тоже врешь! Исправник-то меньше вас знает? Гляди, дело-то какое, с полпуда!

– А вы его прочли?

– Ничего я не читал! Буду писать – буду и читать. По порядку писать буду. А ты все врешь. Еще разок-другой съезди, – смягчился он. – Молчок, где был, куда ездил – никому! О Чуркине ни гугу, и слово это забудь!

Потом я подал ему интереснейшую корреспонденцию об ужаснейшем положении рабочих, гибнущих на кустарных фабричках серных и фосфорных спичек в Егорьевском уезде. Он даже и читать не стал:

– Да что ты! О Гуслицах давай, а об этом ни слова, пока я Чуркина не напишу...

– Николай Иванович! Да ведь там народ сотнями гибнет. От фосфору целые деревни вымирают: зубы вываливаются, кости гниют, лицо – язва сплошная, пальцы отгнивают! В помещения войдешь – дурно делается, а рабочие больше полусуток в них работают.

– Спрячь, говорю! Вот когда Чуркина писать буду – тогда! Спрячь и молчи. Не нашего это ума дело! И о Чуркине молчи, был – не был!

Только года через два, объехав еще не раз ужасный спичечный район, я начал свою кампанию против ужасного производства в «Русских ведомостях» и в петербургских газетах.

Это вызвало и передовые статьи и отклики ученых о вреде серно-фосфорного спичечного производства, которое лет через пять было законом воспрещено.

Н.И. Пастухов начал печатать своего «Разбойника Чуркина» по порядку протоколов, сшитых в деле, украшая каждый грабеж или кражу сценами из старых разбойничьих романов, которые приобрел у букинистов, а Ваську Чуркина преобразил чуть ли не в народного героя и портрет его напечатал.

Для портрета он снял во весь рост известного тогда певца Павла Богатырева, высокого и стройного богатыря, в пиджаке, с казацким поясом.

– Николай Иванович! Ведь гуслики над вашим Чуркиным смеются, – сказал я как-то ему.

– Зато подписываются на «Листок»! А розница-то какая!

Действительно, газета в первые месяцы удвоилась, а потом все росла, росла. Московские газеты стали намекать, что описание походов Чуркина развращает читателей, учит, как

воровать и грабить.

Н.И. Пастухов печатал в это время уже четвертую книгу о разбойнике Чуркине и объявил о выходе пятой.

Слухи и жалобы заставили наконец всесильного «хозяина столицы» генерал-губернатора князя В.А. Долгорукова вызвать к себе Н.И. Пастухова:

– Вы что там у меня воров и разбойников разводите своим Чуркиным? Прекратить его немедленно, а то газету закрою!

Струсил Н.И. Пастухов. Начал что-то бормотать в защиту, что неудобно сразу, надо к концу подвести.

– Разрешаю завтра последний фельетон!

– Да как же! Ведь Чуркин!

– Удави Чуркина или утопи его! – рассердился князь и повернулся спиной к ошалевшему Н.И. Пастухову.

– Ваше сиятельство... Ваше сиятельство...

В.А. Долгоруков вопросительно обернулся.

– Завтра кончу-с! То есть, так его расказню, что останетесь довольны!

И расказнил! На другой день появился последний фельетон: конец Чуркина, в котором свои же разбойники в лесу наклонили вершины двух берез, привязали к ним Чуркина и разорвали его пополам.

Прошло несколько лет. Как-то, вернувшись в Москву из поездки на юг, я нашел у себя на квартире забитый большой ящик, адресованный на мое имя, со штампом «Дулево, фабрика М.С. Кузнецова».

В ящике записка на мое имя: «От благодарных гусяков» и прекрасный фарфоровый чайный сервиз, где, кроме обычной дюжины чашек, две большие с великолепным рисунком и надписью золотом: «В.А. Гиляровскому от Гуслиц». Другая такая же на имя жены. Одна именная чашка сохранилась до сих пор.

Кто заказал сервиз, так и не удалось мне узнать ни в конторе М.С. Кузнецова, ни на Дулевской его фабрике в Гуслицах.

< ... >

У Н.И. Пастухова было большое количество друзей и не меньшее число ожесточенных врагов.

В нем было столько же оригинального и своеобразно хорошего, сколько и непереносимо дурного, и все это скрывалось под грубой оболочкой не строго культурного человека.

К каждому из своих сотрудников он относился, как к близкому и родному ему человеку, но и церемоний он никаких ни с кем не соблюдал, всем говорил «ты» и, разбушевавшись,

поднимал порою такой крик, который не все соглашались покорно переносить.

Зато и в горе и в нужду сотрудников он входил с отзывчивостью, в прессе его времени почти небывалой.

Я знаю случай, когда, с укором встретив старого газетного товарища, пришедшего к нему искать работы, он разом превратил его, как бы мановением волшебного жезла, из бедного и полураздетого человека в человека относительно обеспеченного.

Это моментальное превращение помнят все, кто знал обоих героев этой житейской волшебной сказки: щедрого «хозяина» Пастухова и вконец пропившегося «работника» И.А. Вашкова.

Дело было глухой осенью, месяца через два после начала «Московского листка».

На дворе стоял почти зимний холод. Улицы покрыты были какой-то гололедицей, чем-то средним между замерзшим дождем и растаявшим снегом, когда в скромную в то время квартиру нового редактора-издателя вошел Иван Андреевич Вашков, довольно хороший и известный в Москве литератор, но вечно бедствовавший, частью благодаря своему многочисленному семейству, состоявшему из семи или восьми душ, а частью (и даже большей) благодаря своей губительной и неудержимой страсти к вину.

Пришел И.А. Вашков в самом жалком виде, без калош, в плохих сапогах и в одном холодном пальто, под которым даже сюртука, кажется, не было.

Он не взглянул ни на кого из нас, хорошо ему знакомых по прессе, и прямо подошел к Н.И. Пастухову, который, с обычной своей оригинальностью, смерив его с головы до ног пристальным взглядом, с укоризной промолвил:

– Хорош!

– Работы дайте! – резко ответил ему И.А. Вашков. – А уж хорошо или нет, об этом потом рассудите!

– Да ведь ты работать не станешь, Иван Андреевич.

– Коли пришел «наниматься», так, значит, буду. Нельзя не работать. С голоду все умрем. Есть надо!

– А пить не следует... – серьезно покачал Н.И. Пастухов своей седой головой. – Ты где живешь-то?

– Да куда... то есть сегодня, в меблированных комнатах, а завтра уж не знаю, где буду жить, потому – хозяйка выселяет.

– Много должен?

– Пятьдесят рублей!

– А амуниция только та, что на тебе?

– Только, – низко опустив голову, ответил И.А. Вашков.

– И что за жизнь такая в меблирушках! – продолжал Н.И.

Пастухов свои назидания. – Ведь у тебя, слышно, детей орава. Ты бы квартиру взял лучше!

– А мебель где взять?

– Вона! Редкость какую нашел... мебель... мало мебели в Москве?

– Да такому, как я, и квартиры не сдадут. Контракт подписывать надо...

– Важное кушанье контракт... подпишем!

Н.И. Пастухов, видимо, начинал уже окончательно входить в роль доброго гения.

Прошла минута тяжелого молчания. И.А. Вашков стоял, понурился.

– Нечего нос на квинту сажать, – весело и бодро заговорил старик. – Поедем твои грехи замаливать... Да обожди! Мою шубу надень! Пальто мое на тебя не влезет. Ишь ты дылда какая, прости господи!

– Зачем? Не надо! – стесняясь, пробормотал И.А. Вашков.

– Чего там не надо... Замерзнешь, возись тогда с тобой!

Закутав И.А. Вашкова в свою шубу и посадив его с собой в экипаж, Н.И. Пастухов объехал с ним и мебельный, и посудный магазины, купив там полное хозяйство. Затем провез его к портному, платя ему купил полный комплект, нанял ему квартиру через два дома от редакции, подписал обязательство платить за его помещение и, вернувшись с ним к себе домой, выдал ему две книжки для забора товара в мясной и в колониальных лавках, условившись с ним таким образом, что половина заработанных им денег будет идти в погашение этого забора, а остальная половина будет выдаваться ему на руки.

Придя к Н.И. Пастухову голодным и холодным, без работы и без возможности прокормить семью хотя бы в течение одного дня, И.А. Вашков ушел от него сравнительно обеспеченным человеком, с приличным, совершенно новым гардеробом, с оплаченной и оборудованной квартирой, с перспективой вполне безбедного существования и с возможностью приодеть всю свою многочисленную семью.

Когда И.А. Вашков умер, то, помимо устроенных похорон, всецело оплаченных Н.И. Пастуховым, жене его были куплены меблированные комнаты.

Такая же помощь была оказана Н.И. Пастуховым семье умершего журналиста Ракшанина; такая же сумма выдана была семье умершего газетного работника Иогансона.

Всем сотрудникам, ни разу не оставлявшим его редакцию за все время ее существования, выдано было за несколько лет до его кончины по пяти тысяч рублей, а после его смерти все лица,

близко стоявшие к его газете, остались если не богатыми, то вполне обеспеченными людьми.

Добряк в жизни, Н.И. Пастухов как редактор имел много таких черточек, которые иногда ставили сотрудников или людей, сталкивавшихся с ним по работе, в затруднительное положение.

Одна из таких сцен, имевшая место в первый год издания газеты, живо врезалась у меня в память.

Съехались мы, сотрудники, как-то утром в Денежный переулок к Н.И. Пастухову, очень любившему, чтобы у него собирались вокруг стола во время утреннего и вечернего чаепития.

Он в это утро был не в духе и, насупившись, ушел в кабинет рядом с залой, так что все, что там делалось и говорилось, было всем слышно.

Н.И. Пастухов сидит в кабинете перед письменным столом и чертит что-то на бумаге, делая вид, что углублен в серьезное, безотлагательное занятие.

В это время явился Михаил Александрович Гиляров со статьей в руках и с твердым намерением получить хороший аванс.

Последнее было у Н.И. Пастухова сделать не всегда легко, и хотя дело кончалось обыкновенно полным удовлетворением всякой просьбы, но покричать при этом он считал своей священной обязанностью, и кричал иногда довольно внушительно.

Гиляров прошел в кабинет и, сразу сообразив, что «сам не в духах», заискивающим тоном начал:

– Я тут политическую передовицу написал, Николай Иванович.

– Ну что ж! Это твое дело! На то ты и нанят...

– Я хотел вам прочесть, посоветоваться. Как вам покажется.

– Ну, что, ж! Валяй! – умиловившись и напуская на себя важный тон, разрешил Н.И. Пастухов.

Гиляров начал читать отчетливо и внушительно, а Н.И. Пастухов глубокомысленно вставлял ни к селу ни к городу коротенькие замечания, вроде:

– Ты тут того – сгладь немного, как бы, знаешь, там не рассердились.

Где было это таинственное «там» и кто за что мог рассердиться при чтении вконец безобидной статьи, конечно, и сам редактор этого не знал, но нужно было «выдерживать фасон», и Н.И. Пастухов его выдерживал.

Мы в зале притихли и слушали внимательно, зная, что без какого-нибудь казуса дело не обойдется.

Наше предположение сбылось. Читая свою «передовицу», Гиляров дошел до слов: «вот именно чего добивались мадьяры».

В ответ на эти совершенно безвинные слова Н.И. Пастухов громко и порывисто крикнул:

– Что-о-о тако-о-ое? Что-о-о?! – по-прежнему, как труба иерихонская, гремел Н.И. Пастухов, – Какие там мадьяры? Откуда ты мадьяр еще выискал!

Растерявшийся М.А. Гиляров постарался, по возможности понятно, объяснить ему значение слова «мадьяры», но «сам» уже закусил удила, и вразумить его не было никакой возможности.

– Так ты так и говори! – гремел он. – Так напрямик и объясняй: австрияк так австрияк, пруссак так пруссак, а мадьяр мне не сочиняй, редактора зря не подводи. Вот что! Нешто с вас спросится? Вы намадьярите, а редактору по шапке накладывают!.. – И, видя «глубокое» впечатление, произведенное его словами и его строгим окриком, он уже смирившимся и умилованным тоном прибавил, укоризненно качая головой:

– А еще профессор!

Мы в зале не могли удержаться от заразительного смеха, а Н.И. Пастухов, увидав в зеркале отражение наших смеющихся лиц, почтил нас окриком:

– Вы там чему рады! Вы нешто начальство пожалеете!

А между тем мы именно в эту минуту от души жалели наше оригинальное «начальство» и благоговели перед дальновидностью нашей правительственной администрации, возложившей тяжелую шапку редактора и публициста на голову этого старого ребенка.

С годами Н.И. Пастухов стал и не так доступен, и с виду как будто не так отзывчив, но в душе он оставался тем же, и кажущаяся перемена в нем была вызвана слишком большими уступками и лестью близко к нему стоявших и беспощадно эксплуатировавших его лиц.

О первой поездке его за границу в литературном мире ходила масса забавных анекдотов, из которых один пользовался самым широким успехом во всем московском обществе.

Относится этот анекдот ко времени тулонских торжеств во Франции, куда Н.И. Пастухов пригласил ему сопутствовать Н.С. Иогансона, очень милого, симпатичного человека, которого считал замечательным лингвистом и который не оспаривал этого мнения.

В сущности, Н.С. Иогансон только «понимал» по-французски, но и то далеко не все, и мы, провожая во Францию наших путешественников на дебаркадер железной дороги, недоумевали,

что станут говорить и делать в поездке наши вояжеры.

Они оба не унывали, и Н.И. Пастухов, прощаясь с нами, говорил, на лету подхватывая наши слегка насмешливые улыбки:

– Ладно! Смейтесь тут! А мы станем там Францию удивлять.

Первое «удивление» было вызвано тем широким барским масштабом, в какой Н.И. Пастухов поставил свой ежедневный обиход.

Номера он и в Париже и в Лионе занимал самые дорогие и самые лучшие, на «водку» прислуге раздавал деньги щедрой рукой, обязательно сопровождая каждое приношение приветом:

– Вуаля! Алле!

Экипажи он заказывал себе самые дорогие и, легко и приветливо знакомясь со всеми, угощал при этом всех такими лукулловскими обедами, что среди всей прислуги ресторанов и отелей известен был под лестным именем «боярина».

Наступил день банкета, который город пожелал дать прессе, и представителям седьмой державы разосланы были почетные пригласительные билеты.

Получили такие билеты и Н.И. Пастухов и Н.С. Иогансон, которым было отведено видное место.

Во всех концах стола шла оживленная беседа, только «бояре» ели молча, потому что никакого разговора поддержать не могли.

Когда предложены были тосты за всех почетных посетителей, один из представителей муниципалитета попросил слова, поднял бокал за присутствовавшего на банкете представителя широко распространенной газеты, издающейся в Москве, этой исторической колыбели России, близкой, понятной и дорогой всему просвещенному миру.

Поднимая бокал, он обратился к Н.И. Пастухову и низко, почтительно поклонился ему.

Оба «боярина» наши сконфузились и растерялись.

– Николай Степанович, чего они? – конфузливо проговорил Н.И. Пастухов, обращаясь к Н.С. Иогансону.

– Ваше здоровье пьют, Николай Иванович, речь вам сказали. Ответить надо, – шепнул в ответ Н.С. Иогансон.

– Ну, вот еще выдумал! Нешто я могу... Ты за меня скажи.

– Да я тоже не могу, Николай Иванович... – сознался шепотом «лингвист».

Со стороны моряков, которых по целым дням неутомимо угощал «боярин», тоже последовала приветственная речь по его адресу.

– Надо сказать что-нибудь, Николай Иванович! Непременно надо! – убедительно прошептал Н.С. Иогансон.

Пастухов и сам, вероятно, понял необходимость ответить на

адресованные к нему приветствия, и, поднявшись с места, он низко раскланялся на все стороны и коротко и прочувствованно сказал:

– Спасибо, голубчики...

– Что он сказал? – раздалось со всех сторон, когда сдержанный оратор опустился на свое место.

Французы, присутствовавшие на банкете, по-русски не понимали, и все обратились за разъяснением и переводом к сидевшему в центре стола секретарю нашего посольства в Париже Нелидову.

Тот к числу друзей Н.И. Пастухова не принадлежал, находил, что он «компрометирует русское общество», но, вынужденный настоятельностью обращенных к нему вопросов, пресерьезно ответил, подстрочно переводя коротенький привет Н.И. Пастухова: «Спасибо, голуби!»

Характерный эпизод этого оригинального привета и его не менее оригинального перевода быстро облетел весь стол и в тот же день сделался достоянием всего съехавшегося общества.

В последние годы своей жизни Н.И. Пастухов уже не писал почти ничего, но всегда посещал общественные места и особенно любил гулять в Манеже. В одно из таких гуляний ему сопутствовал Н.Н. Соедов, тогда редактор «Развлечения», большой шутник. Н.Н. Соедов пришел раньше Н.И. Пастухова и выиграл в лотерею дюжину мельхиоровых ложек. Потом они встретились, пили чай в буфете, а после чая пошли смотреть гулянье. Желая подшутить над стариком, Н.Н. Соедов положил ему в карман пальто одну из выигранных ложек. Николай Иванович, идя по манежу, сунул руку в карман и, вынимая ложку, сказал:

– Коля, а ведь я ложку украл! Снеси-ка ее в буфет.

Н.Н. Соедов взял ложку и в это время сунул Николаю Ивановичу другую и пошел в буфет.

– Снес?

– Снес, Николай Иванович.

– А вот у меня другая ложка... Стало быть, я две стащил... Снеси-ка.

Н.Н. Соедов опять взял одной рукой ложку, а другой другую ложку опять сунул в карман. Зашел в буфет, сделал вид, что снес ложку, и опять идет. Видит: Николай Иванович стоит удивленный и смотрит на ложку, которую держит в руках:

– Откуда же она? Ведь это третья... Ничего не понимаю... Возьми, отнеси. Впрочем, пойдем, я сам отдам.

Подойдя к буфету, Николай Иванович подозвал лакея, отдал ему ложку и пошел гулять по манежу. В это время Н.Н. Соедов

опять сунул ложку ему в карман.

Николай Иванович остановился перед куплетистом, слушал и вдруг изменился в лице.

– Коля, ущипни меня за ухо...

– Что-с, Николай Иванович?

– Ну, за руку... Возьми... ущипни... Жив я или нет?

Н.Н. Соедов ущипнул его за левую, протянутую ему руку, а правая рука Николая Ивановича была в кармане.

– Жив... Только ничего не понимаю... Ты знаешь, что у меня в руке? Боюсь посмотреть, а чувствую... Опять она...

– Кто-с?

– Ложка... вот она, гляди.

И Николай Иванович вынул из кармана четвертую ложку. Побледнел, дрожит... Н.Н. Соедов сам испугался за старика и кое-как развлек его, но никогда не объяснил ему своей проделки, а сам Николай Иванович, когда рассказывал кому-нибудь из своих приближенных об этом непонятном случае, как о чуде, все-таки прибавлял:

– Верил бы и в чудо, ежели бы только со мной Соедов не был... Он все может...

Лет за десять до кончины с Н.И. Пастуховым произошел случай, имевший для него тяжелые последствия.

Н.И. Пастухов, как я уже говорил, был отчаянным рыболовом. Ничто в мире не могло так занять и увлечь его, как рыбная ловля.

Однажды Н.И. Пастухов, приехавший, по своему обыкновению, на Нижегородскую ярмарку, выбрал и облюбовал себе место в нескольких верстах от города, в небольшой деревеньке, расположенной у самого берега Волги, и, наняв там у одного из крестьян лодку, расположился со своими удочками, приготовившись к обильному улову.

Вообще рыбная ловля на удочку требует ненарушимой тишины, а Н.И. Пастухов, для которого ужение было чуть ли не священнодействием, был необыкновенно капризен и требователен в этом отношении.

Нельзя было нанести ему большего оскорбления, как явиться к нему на берег и шумом и разговором спугнуть рыбу, которая клюет только при полной тишине и немедленно уходит, раз эта полная тишина нарушена.

Все знавшие Н.И. Пастухова считались с этим, и легко можно себе представить, как он рассердился, закинув удочку и внезапно услышав за собой на берегу смех и говор нескольких детских голосов.

– Кши! – сердито закричал он на них, обернувшись в их

сторону и прогоняя их, как гоняют надоедливых птиц.

Детишки не унимались, и, только видя, что «старый барин» зашевелился в лодке, и боясь, что он причалит к берегу и поймает их, они бросились бежать с громким криком и озираясь на сердитого «дедушку», который был не на шутку взбешен.

Рыба, испуганная шумом, ушла, и он хорошо знал, что в этот вечер она не клюнет.

Н.И. Пастухов поднялся в лодке и издали увидал, как двое из убежавших мальчиков остановились на дороге, с любопытством глядя в его сторону и словно поддразнивая его.

Окончательно возмущенный такой смелостью и желая хорошенько пугнуть дерзкую детвору, Н.И. Пастухов схватил в руки лежавший подле него в лодке револьвер и направил его на мальчиков. Те, увидев, что он поднялся, вскрикнули и побежали.

Он, с целью раз навсегда хорошенько проучить их, спустил курок. Пуля, направленная с шальной меткостью, настигла мальчика, остановившегося ближе к берегу.

Н.И. Пастухов, мгновенно вспомнив, что револьвер заряжен, весь похолодел, увидав, как мальчик зашатался, быстро рванулся в сторону и, взмахнув руками, разом грохнулся о землю.

Обезумев от ужаса, Н.И. Пастухов выскочил из лодки, бросился к мальчику, нагнулся над ним, стал окликать его, ласково ободрять, но было уже поздно.

Ребенок лежал бледный, без движения, с широко открытыми глазками, в которых застыло выражение смертельного ужаса. Он был убит наповал.

Обезумевший от ужаса Н.И. Пастухов бросился в город на ожидавшей его на берегу лошади и мигом вернулся оттуда в сопровождении полиции и нескольких врачей, которых он буквально хватал по дороге, не спрашивая об условиях, и только испуганным и дрожащим голосом повторял:

– Скорей! Ради бога, скорей! Может быть, еще можно что-нибудь сделать!..

Но делать уже было нечего. Нагрянувшие власти нашли у трупа уже громадную толпу поселян с матерью убитого мальчика во главе.

Их всех призвали разбежавшиеся дети, поторопившиеся известить, что «старый, сердитый барин убил Ваську».

Тут же стояла на страже и земская полиция, знакомая с порядками следствия и с законами и знавшая, что мертвое тело нельзя трогать с места до приезда начальства.

На коленях перед трупом, прижавшись головой к остывшему маленькому телу, неутешно рыдала мать маленького Васи.

Увидав Н.И. Пастухова, она бросилась к нему, и не защити

его присутствовавшие, она, кажется, разорвала бы его своими руками.

В порыве отчаяния она проклинала его самым страшным образом, и когда расстроенный и перепуганный Н.И. Пастухов направился к экипажу, она, силой удержанная десятским, крикнула ему вслед:

– Пусть Бог отомстит тебе за меня! Ежели у тебя есть дети, пусть он их у тебя отнимет, как ты у меня моего сыночка бедного отнял!

Движимый горем и раскаянием в своем невольном преступлении, Н.И. Пастухов дал несколько тысяч семье Васи, поставил над его могилой мраморный памятник и внес в земскую управу сумму на учреждение в ближайшем селе школы в память убитого.

Но проклятие убитой горем матери, видимо, оказалось сильнее всяких денег, могущественнее всяких пожертвований и даров, и несчастье, призванное на его голову, как бы стало осуществляться.

У Н.И. Пастухова было только двое детей: сын, которому в момент этого горького события было около тридцати пяти – тридцати шести лет, и дочь несколькими годами моложе брата.

Сын был уже давно женат, дочь тоже была замужем, и у каждого из них, в свою очередь, была семья. Оба были в полном расцвете сил и здоровья и, богатые, счастливые, наслаждались всеми благами жизни.

Не прошло и года после ужасной гибели Васи, как дочь Н.И. Пастухова внезапно заболела горловой чахоткой и через несколько месяцев умерла в страшных муках от голода, не имея сил глотать никакую пищу.

Брат, присутствовавший на ее погребении и сам несший гроб ее до могилы, почти внезапно умер через три недели после нее, проболев только пять или шесть дней.

Эта последняя могила была вырыта через девять месяцев после трагической смерти маленького Васи.

Люди, не зараженные предрассудками, могут объяснить это простой случайностью, но многие из тех, кто был свидетелем передаваемого случая, увидели в нем нечто иное.

Сам Н.И. Пастухов ни разу, сколько можно было заметить, не вспоминал ни случая нечаянного убийства, ни совпадения обрушившихся на него несчастий с поразившим его проклятием матери Васи. Помимо нравственного горя, это роковое дело принесло Н.И. Пастухову немало и материальных убытков.

Дело это до суда не дошло, но, по признанию Н.И. Пастухова, это обошлось ему в солидную цифру.

Сына Н.И. Пастухов обожал, и во всем живом мире не было существа ему более близкого и дорогого, а между тем и хоронить его старику пришлось при совершенно исключительных условиях.

Сын, никогда не разлучавшийся с отцом, сам был к нему горячо привязан и, узнав о внезапной болезни отца, занемогшего на одной рыбной ловле, за Пушкином, куда он поехал после похорон дочери, тотчас же отправился, чтобы перевезти больного отца в Москву.

Поехал он к нему совершенно здоровый, но дорогой простудился и при возвращении в Москву сам занемог.

Отец в это время лежал без памяти и ничего не знал о болезни сына.

Квартира молодого Пастухова расположена была на одной лестнице со стариком, прямо над его квартирой, и лежал больной сын прямо над той комнатой, где лежал и приговоренный к смерти старик.

Очнувшись от беспамятства на третий или четвертый день болезни, старик спросил о сыне, и доктора, уже не питавшие никакой надежды на его выздоровление, осторожно предупредили старика об опасной болезни сына.

Он, вздохнув, перекрестился, спросил, остается ли какая-нибудь надежда на выздоровление, и, получив отрицательный ответ, попросил окружающих, чтобы его предупредили в ту минуту, когда у сына начнется агония.

Желание это было исполнено, и он, узнав, что сын доживает последние минуты своей сравнительно молодой жизни, поднял глаза к потолку, как бы желая взором проникнуть сквозь все материальные преграды туда, где угасала эта дорогая для него жизнь.

Не только провести, но даже и перенести его по лестнице в квартиру сына не было никакой возможности, и старика только в креслах подкатали к двери передней в ту минуту, когда сверху мимо него пронесли гроб с дорогим ему прахом.

В тех же креслах его подкатали к окну, из которого он увидел сына, когда гроб его вынесли из дома.

Самого Н.И. Пастухова смерть постигла тоже со странным совпадением дат.

Его хоронили 31 июля 1911 года, то есть накануне тридцатилетнего юбилея его газеты, первый номер которой вышел в свет 1 августа 1881 года.

Эти отдельные эпизоды, вырванные из очень большой репортерской работы в «Московском листке», могут, как мне думается, дать некоторое представление и о репортаже того

времени, и о Н.И. Пастухове – создателе газеты, которая читалась и в гостиных, и в кабинетах, и в трактирах, и на рынках, и в многочисленных торговых рядах и линиях.

«Студент 3-го семестра утешает вдов и разводит сирот. Согласен за стол и квартиру. Б. Бронная, д. Чебышева, студенту Андрееву».

Эти строки единственные остались у меня в памяти из газеты, которая мозолила мне глаза десятки лет в Москве во всех трактирах, ресторанах, конторах и магазинах. В доме Чебышева, на Большой Бронной, постоянном обиталище малоимущих студентов Московского университета, действительно оказались двое студентов Андреевых, над которыми побалагурили товарищи, и этим все и окончилось.

Эту газету получали все учреждения, потому что обязаны были получать и непременно держать ее на виду.

Программа этой газеты, утвержденная правительством, была шире всех газетных программ того времени. Ей было разрешено печатать «все, что интересно читать и потребно обывателю». Так и написано было в разрешении, которое мне показывал сам редактор, маленький чиновничек, назначенный из канцелярии обер-полицмейстера.

Он имел шикарную квартиру при редакции и жил так, как полагается жить человеку, занимающему подобную квартиру.

Редактор никогда не читал своей газеты, имевшей свою хорошо оборудованную типографию. Газету вообще никто не читал, а меньше всего подписчики.

Интересовались ею только самые злополучные люди, справлявшиеся о том, какого числа будет продаваться за долги их обстановка, да еще интересовались собачьи воры, чтобы узнать, по какому адресу вести украденную ими собаку, чтоб получить награду от публикующего о том, что у него пропала собака. Эти лица, насколько я знаю, читали газету, а кто были остальные читатели, если только они были, – неизвестно.

Меня вопросы об аукционах не интересовали, а если у меня пропадала породистая собака, что было два раза в моей жизни, то я прямо шел на Грачевку, в трактир Павловского, разыскивал Александра Игнатьева, атамана шайки собачьих воров, – и он мне приводил мою собаку.

Цензурный комитет и в глаза не видал этой газеты, в которой печатались обязательные постановления Городской думы касательно благоустройства города, краткие сообщения из полицейских приказов и протоколов о происшествиях и список приехавших в столицу и выехавших особ не ниже пятого класса.

Кроме того, в газете «припечатывались» казенные и частные

объявления, и на квитанциях писалось: «За припечатание сего объявления получено 33 копейки серебром».

Частные лица редко сдавали сюда торговые объявления, и называлась эта газета «Ведомости московской городской полиции».

Распространение газеты зависело от энергии участкового пристава и характера участка, которым пристав этот ведал. Так, в Арбатской и Пречистенской частях этой газеты и не увидишь, хотя каждый домовладелец обязан был на нее подписываться. Эти два участка были населены дворянством, которое гнало полицейских, приходивших с подписной книгой на газету. Зато в некоторых более подходящих участках были приставы, ревностно заботившиеся о доходах газеты, причем, конечно, не забывали и о своем кармане.

В 1881 году московская полиция была преобразована: прежнее административное деление столицы на кварталы было уничтожено, и Москва была разделена на 40 участков.

Квартальных переименовали в участковые пристава и дали им вместо старых мундиров со жгутиками чуть ли не гвардейскую форму с расшитыми серебряными воротниками и серебряными погонами с оранжевым просветом.

Пузатые, небритые квартальные надели почти что гвардейские мундиры, и только некоторые из молодых побрились и стали лихо закручивать усы.

Некоторые из них отпустили бороды по примеру царского двора, где бакенбардисты превратились в бородачей: царь носил бороду.

Квартальные, ставши приставами, конечно, заважничали и подняли тариф: теперь фунтом чернослива или ногой телятины торговцы уже не отделывались – гони наличные, купить сами умеем.

В это время я написал для «Будильника» четверостишие, которое мне показали, троекратно и зло зачеркнутое красными чернилами, да еще с цензорской добавкой: «Это уж не либерально, а мерзко!»

Четверостишие было такое:

Квартальный был – стал участковый,
А в общем та же благодать:
Несли квартальному целковый,
А участковому – дай пять!

В числе таких квартальных, переодевшихся в почти гвардейский мундир, был капитан Змеев – щеголь и козырь

вовсю.

Он в это время был приставом на Тверской-Ямской, где улицы и переулки были населены потомками когда-то богатого сословия ямщиков и вообще торговым, серым по тому времени, людом.

Поручил собрать подписку околоточным, но безуспешно. Ответы были такие:

– На кой она нам!

– Мы люди неграмотные, газетов отродясь не читали!

В одно из воскресений, после обедни, на обширный двор участка были согнаны все домовладельцы, трактирщики и лавочники – хозяева.

Поддевки, длинные сюртуки ниже колен, смазные сапоги и картузы, как у Дикого из «Грозы», наполнили двор. Вынесли стол с книгой подписки на газету.

Вышел на крыльцо грозный пристав Змеев:

– Здравствуйте, почтенные!

– Здравствуйте, вскорodie!

– Кто у вас на «Полицейские ведомости» подписался, руку подними.

Поднялись две руки: трактирщика Осипова и лавочника Луки Прокофьева.

– Выходи сюда.

Подошли без шапок, дрожат.

– Ну, спасибо вам, молодцы! Можете идти домой! – даже руку им подал на прощанье.

Затем обратился к писарю и приказал каждому раздать по газете, кому хватит.

– Здесь, вот видите, на первой странице высочайшие приказы и обязательные постановления напечатаны. Их обязан знать каждый обыватель. Берите газету, располагайтесь на травке и выучите наизусть пока первую страницу. Да чтоб без ошибок было! А кто выучит – пусть доложит мне, я проэкзаменую сам.

И крикнул городовым:

– Никого не выпускать со двора!

Городовые заперли ворота. Пристав важно ушел в свой кабинет.

Ошалелые обыватели бросились к писарю. Некоторые стали по складам читать газету и заучивать.

Писарь предложил желающим подписаться и с квитанцией идти к приставу в канцелярию. Подписка была четыре рубля за год. Конечно, сдачи с пяти рублей не давали. Брали квитанции, шли в канцелярию и исчезали.

Некоторые, упорные, пробовали учить заданное, но ничего не

выходило.

В результате весь участок Змеева подписался на «Полицейские ведомости», а выходявшие из кабинета с аудиенции через парадный ход участка прямо на улицу почесывали затылок:

– Н-да! Что ловко, то ловко!

В Москве была еще такая же газета с обязательной подпиской, но той в столице не видали.

Она выходила раз в неделю, посылалась в провинцию почтой, где ее сваливали, не распечатывая бандероли, в архив присутственных мест уездных городов. Оттуда она поступала в конце концов через сторожей в соседние лавочки на оклейку стен или употреблялась на курево.

В ней печатались циркуляры, еще ранее разосланные по уездам почтой, и «припечатывались» объявления о пропавших коровах и забеглых лошадях, о потерях документов и разных находках.

Я в первый раз познакомился с этой газетой, носившей громкое название «Московские губернские ведомости», в начале 80-х годов, на охоте под Коломной, где в сельской лавочке в половину этой газеты мне завернули фунт мятных пряников.

На привале в лесу я стал смотреть газету и среди объявлений о пропажах и находках наткнулся на такое сообщение:

«В лесу близ Черкизова найдены неизвестно кому принадлежащие кандалы с потертыми подкандальниками. Владельца просят явиться, с доказательствами принадлежности в Московское губернское правление, в стол находок».

Цензура и цензоры

Самым глухим и трудным временем для печати было, пожалуй, десятилетие с 1881 по 1891 год, сменившее время «диктатуры сердца» и либеральных веяний, когда печать чувствовала себя относительно свободно. Это жесточайшее время реакции отразилось первым делом на печати: получить разрешение на газету или журнал было почти невозможно. Зато правительство легко закрывало издания или умело сводило на нет при всяком удобном случае неудобные ему. Любопытно, что одним из первых во время наступившей реакции пострадал цензор Никотин, просматривавший журнал Н.А. Пушкирева «Свет и тени». Он пропустил карикатуру, не разгадавши ее смысла. Пострадал за нее и автор-художник, тогда еще студент-медик, М.М. Чемоданов.

Во всю страницу журнала «Свет и тени» летом 1881 года появился рисунок: стоят прямо воткнутые в две чернильницы по сторонам стола два гусиных пера, а через них была перекинута в виде вьющейся линии надпись: «Наше оружие для разрешения современных вопросов».

Перья и надпись изображали, если всмотреться, два столба с перекладиной. Перекладина-надпись была сделана почерком с росчерками, и один из росчерков, как раз посередине перьев, походил на висящую петлю.

Публика сразу узнала виселицу, и номер журнала был у всех в руках. Хватились испуганные власти, стали отбирать журнал, закрыли розницу издания и уволили цензора.

Уцелевшие у газетчиков номера продавались нарасхват по 5 рублей из-под полы. Вылетел со службы цензор Никотин, в общем очень милый и образованный человек, лучший из цензоров того времени.

Его увольнение больше всего отозвалось на цензорах, и они зло набросились на печать, и осторожность их доходила до абсурда.

Привыкай к пеленанью, мой милый,
Привыкай, не шутя говорю,
Подрастешь да исполнишься силой,
Так и мысль спеленают твою.

Этими строчками заканчивалось стихотворение «Ребенок», сданное мною, вскоре после опубликования рисунка М.М.

Чемоданова, в «Будильник».

Оно было послано в гранках цензору Егорову, лучшему из оставшихся цензоров, свободомыслящему и притом дружившему с редактором «Будильника» Н.П. Кичеевым, которому он и сказал, указывая на эти строчки:

– Николай Петрович, да разве можно? Вы хотите, чтоб и меня в отставку, как Никотина, выгнали?

– За что же?

– Да за то, что я допустил намек!

Эта знаменательная беседа с цензором, рассказанная Н.П. Кичеевым своим товарищам, повторялась во всех редакциях и повисла грозной тучей над изданиями.

«Намек» дал тон всей тогдашней литературе, которая в ответ цензуре заговорила эзоповым языком и приучала читателя разыскивать и разгадывать «намек» даже там, где их не было. И разгадывали и находили, хотя это часто походило на сплошной анекдот.

Что, кроме анекдота, могло явиться в печати под «пятой» правительства, боявшегося даже намек, и какая могла быть печать, если газеты и журналы разрешались только тем, на кого твердо надеялось правительство, уверенное в том, что оно разрешает только тому право на издание, у кого и мысли о каком-нибудь неугодном властям намеке в голову прийти не могло, и разве такой издатель в свою газету и журнал мог пригласить редактора, который был бы способен пропустить какой бы то ни было намек?

Это было время, когда только в подпольной печати были рыцари без страха и упрека.

В легальной печати было два лагеря: в одном – «рыцари» со страхом и намеком, а в другом – «рыцари» без страха и намека. Во главе первых в Москве стояли «Московский телеграф», «Зритель» Давыдова, «Свет и тени» Пушкарёва, ежемесячная «Русская мысль», «Русские ведомости», которые со страхом печатали Щедрина, писавшего сказки и басни, как Эзоп, и корреспонденции из Берлина Иоллоса, описывавшего под видом заграничной жизни русскую, сюда еще можно было причислить «Русский курьер», когда он был под редакцией В.А. Гольцева, и впоследствии газету «Курьер».

Ко второй категории можно отнести было «Московские ведомости», «Московский листок», «Русский листок», «Русское слово», тогда еще не перешедшее к И.Д. Сытину, которые все кормились и не рассуждали, будучи бесцензурными, а «Новости дня» были безопасны вследствие предварительной цензуры.

В такие времена задумалось издание детского журнала «Ласточка», в котором поэт из народа И.А. Белоусов являлся издателем, а я редактором.

Приложив к прошению законное количество гербовых марок, я послал его в главное управление по делам печати, ходатайствуя о разрешении журнала. «Скоро сказка говорится, дело мешкотно творится» – есть поговорка. Через долгое время я получил ответ из главного управления о представлении документов о моем образовательном цензе.

Во время затей с «Ласточкой» одновременно я был уже редактором «Журнала спорта», который был разрешен тем же самым главным управлением по делам печати.

В моем ответе, указав на этот факт, я дополнил, что, кроме того, я имею честь состоять «действительным членом Общества любителей российской словесности при Императорском московском университете» и работаю в журналистике более 20 лет.

Начальником главного управления по делам печати в эти времена был профессор Московского университета Н.А. Зверев, который сам был действительным членом Общества любителей российской словесности и, конечно, знал, что в члены Общества избираются только лица, известные своими научными и литературными трудами.

В ответ на это мне главным управлением сообщалось, что всего этого недостаточно для утверждения меня редактором детского журнала, а необходим гимназический аттестат. Гимназического аттестата, да и вообще никаких бумаг, кроме указа об отставке с перечислением сражений, в которых я участвовал, полученного мной после турецкой войны, тогда у меня не было: все их растерял во времена моей бродяжной юности.

Так и пришлось прекратить все хлопоты о детском журнале!

Вскоре после этого Н.А. Зверев приехал в Москву и потребовал к себе всех московских редакторов. Пошел и я. Он собрал редакторов в кабинете цензурного комитета и начал увещевать, чтобы были потише, не проводили «разных неподходящих идей», и особенно набросился на своего бывшего товарища по профессуре В.А. Гольцева, редактора «Русской мысли», и В.М. Соболевского, редактора «Русских ведомостей».

Надо заметить, что это было в начале японской войны и как раз в тот день, когда было напечатано сообщение об успехах наших войск, взявших Путиловскую сопку.

– А вам, господа, – сказал Н.А. Зверев, обращаясь к В.А. Гольцеву и В.М. Соболевскому, – я особенно удивляюсь. Что это

вам далась какая-то конституция! Что это, господа? В такое время! Или у вас нет тем? Писали бы о войне, о героических подвигах. Разве это не тема, например, сегодняшний факт – сопка с деревом!

Беседа кончилась как-то юмористически. Когда вышли из кабинета, я резюмировал зверевскую беседу так:

Вот вам тема – сопка с деревом,
А вы все о конституции...
Мы стояли перед Зверевым
В ожидании экзекуции...
Ишь какими стали ярыми
Света суд, законы правые!
А вот я вам циркулярами
Поселю в вас мысли здравые.
Есть вам тема – сопка с деревом:
Ни гугу про конституцию!..
Мы стояли перед Зверевым
В ожидании экзекуции...

Дожидались конституции, грянула свобода печати, стали писать по-новому. Забыли «сопку с деревом», доставление документов об образовательном цензе, стали выходить издания явочным порядком. Стали писать все что угодно, никакой цензуры, казалось, не было, но оказалось – ненадолго.

Стали опять поговаривать о «свободе печати», той печати, которая свободно припечатывала бы каждое свободное слово, воскресла цензура и принялась «припечатывать»!

Для редакторов открылись двери тюрем, на издателей посыпались денежные штрафы, сажали редакторов и прикрывали газеты. Нужно было или платить штраф, сохраняя издание, или на место посаженного редактора выставлять нового, запасного. Таких явилось сколько угодно.

– Ответственный редактор!

– Редактор для отсидки!

Цены на таких редакторов были разные: от 15 рублей на хозяйских харчах в месяц и выше – до сотен рублей. Был случай, напечатанный в газетах, что двенадцать редакторов одного и того же петербургского издания одновременно отсидживали в тюрьме трехмесячный стаж.

Такие «редакторы» вербовались издателями среди безработных или лиц, ничем не рискующих, так как жалование им шло и во время заключения.

Свободе «печати», припечатывавшей «свободное слово», стало

трудно бороться с этим, надо было находить и выдумывать что-то новое. Был выдвинут новый проект устава о печати, в котором, между прочим, имелся 45-й параграф, предусматривающий особый образовательный ценз для ответственного редактора, вроде диплома об окончании курса в среднем учебном заведении. Этот 45-й параграф уже заставил многих издателей, особенно провинциальных, задуматься. Как-то я получил от одного из них письмо, в котором он, между прочим, обращается с просьбой:

«Подыщите мне, пожалуйста, парочку, а то и троечку, на всякий случай, подходящих редакторов, но непременно с гимназическим дипломом, на жалованье от 40 до 50 рублей. Сначала пришлите одного, а другие двое чтобы были наготове, когда потребуется. Вы знаете, что статья 45-я нового устава о печати для нас, глухой провинции, прямо зарез, здесь трудно найти ответственного редактора с гимназическим образованием. У вас же в Москве, взять хоть Хитров рынок, ими хоть пруд пруди. Ведь обязанности никакой: сиди пей водку дома да только подписывай газету. Конечно, справиться надо, не судившийся ли, а все остальное ничего, у меня тесть содержит лечебницу для алкоголиков. Только главное – аттестат и благонадежность. Пожалуйста, присмотрите парочку...»

Я прочел это письмо и подумал: догадайся я раньше найти на Хитровом рынке такого редактора, давно бы издавал детский журнал.

Когда я редактировал коннозаводческий «Журнал спорта», московская цензура тоже меня нередко тревожила и ставила иногда в ужасное положение. Так, в 90-х годах прошлого столетия я как-то напечатал воскресный номер и выпустил его, не дождавшись цензорских гранок. Сделал я это вполне сознательно, так как был более чем уверен, что ровно никаких противоцензурных погрешностей в номере нет.

В 8 часов вечера, в субботу, я роздал номер газетчикам и послал к цензору за гранками. Каково же было мое удивление, когда посланный вернулся и уведомил, что номер выпускать нельзя, так как цензором сделаны вымарки. Номер я уже роздал весь и уехал на поезде, а вернувшись в понедельник, отправился в цензурный комитет, куда были доставлены и цензорские гранки. Оказалось, что вычеркнуто было только одно слово: «казенная».

Слово это находилось в отчете о скачках, на которых участвовали лошади казенного Деркульского завода, и было, между прочим, написано: «Хотя казенная кобыла и была бита хлыстом, но все-таки не подавалась вперед».

Слово «казенная» было вычеркнуто, и номер задержан. Цензурный комитет помещался тогда на углу Сивцева Вражка и Б.

Власьевского переулка. Я вошел и попросил доложить о себе председателю цензурного комитета В.В. Назаревскому, которым и был приглашен в кабинет. Я рассказал о моем противоцензурном поступке, за который в те блаженные времена могло редактору серьезно достаться, так как «преступление» – выпуск номера без разрешения цензуры – было налицо.

– Что же, я поговорю с цензором. Это зависит только от него, как он взглянет, так и будет, – сказал мне председатель цензурного комитета.

В разговоре В.В. Назаревский, между прочим, сказал:

– А знаете, в чьем доме мы теперь с вами беседуем?

– Не знаю!

– Это дом Герцена. (Позднее я выяснил, что В.В. Назаревский ошибся: дом А.И. Герцена был не здесь, а в Старо-Конюшенном переулке.) Этот сад, который виден из окон, – его сад, и мы сидим в том самом кабинете, где он писал свои статьи.

– Бывает! – сказал я.

– Да-с! А теперь на месте Герцена сидит председатель московского цензурного комитета.

На столе В.В. Назаревского лежала пачка бумаги. Я взял карандаш и на этой пачке написал:

Как изменился белый свет!
Где Герцен сам в минуты гнева
Порой писал царям ответ, —
Теперь цензурный комитет
Крестит направо и налево!..

В.В. Назаревский прочел и потом перевернул бумагу.

– Это прекрасно, но... вы написали на казенной бумаге.

– Уж извините! Значит – последовательность. Слово «казенная» не дает мне покоя. Из-за «казенной» лошади я попал сюда и испортил «казенную» бумагу...

– Вы так хорошо испортили «казенную» бумагу, что и «казенную» лошадь можно за это простить. Не беспокойтесь, за выпуск номера мы вас не привлечем. Я поговорю с цензором, а эти строчки я оставляю себе на память.

Так А.И. Герцен выручил меня от цензурной неприятности.

Что бы, кажется, могло быть бесцензурного в «Журнале спорта», где разбирались только одни коннозаводские вопросы? Но тем не менее то и дело цензура прикладывала к нему свою руку.

Большие номера журнала выходили по воскресеньям,

печатались в субботу и к газетчикам поступали или поздно вечером, или в четыре часа утра.

Статьи для цензуры посылались в пятницу, а хроника и отчеты – в субботу, после четырех часов дня, то есть когда верстался номер. Бывали случаи, что уже наступал вечер, а цензурных гранок не приносили. Приходилось иногда ехать самому к цензору на квартиру вырывать материал.

Приедешь. Отпирает кухарка:

– Тебе чего?

– Кто дома есть?

– Никого нетути! Уехадши в киятры!

– Цензурные гранки не оставлены?

– Дранки? Вот они лежат, да отдавать не приказано, в понедельник в комитет пойдут.

Дверь захлопывается – положение невеселое: или номер не выпускай, или рискуй закрытием журнала за бесцензурный выход. Тогда все это было возможно в административном порядке.

Приходилось в одиннадцать часов ночи посылать секретаря дежурить у подъезда цензора и ждать его возвращения из театра, чтобы получить гранки.

Иногда эти гранки отдавались, нецензурные недоразумения улаживались – и номер выходил беспрепятственно. Иногда же я выпускал номер на риск, и приходилось ездить с объяснениями в цензурный комитет. Все это стоило времени и трепало нервы.

Иногда дело передавалось в суд и кончалось рублевым штрафом, но до суда я старался никогда не доводить, чтобы не обозлить цензуру, которая все-таки имела возможность всегда зарезать издание тем или другим путем.

Такие цензоры, как С.И. Соколов и С.В. Залетов, относились ко мне хорошо, доверяли выпускать текущий дневной материал без просмотра. Такое доверие давало мне возможность раньше выпускать номер, – но тут бывали курьезные недоразумения.

– Что же это вы нас подводите? Мы вам доверяем, а вы подводите-с!

– Что? Где?

– Читайте: «Гнедой жеребец Патриарх покрыл мадам Анго». Да разве это можно! Патриарх... да еще мадам Анго?

– Это лошадь иностранная, разве я виноват, что у нее такое имя!

– Ну так пусть пишут иностранцы, а нам не подобает. За это нам...

– Да ведь вот и в казенном журнале «Коннозаводство», издающемся в Петербурге при Главном управлении

государственного коннозаводства, так же написано.

Я показал цензору казенный журнал, откуда была сделана перепечатка о Патриархе.

– Безобразники! А еще государственное коннозаводство! – вздохнул цензор и успокоился.

Во времена, когда я был мало известен цензуре, хроника в журнале часто черкалась цензором, и происходили недоразумения и объяснения в цензурном комитете.

Был задержан однажды выпуск номера за заметку в хронике такого содержания:

«Ф.Ф. Достоевский купил у Л.Ф. Грабовского двух кобыл – Лютеранку и Круцятку».

В среду я был вызван в цензурный комитет к моему цензору.

– Это кобыла-то у вас лютеранка? Да что вы это? Я этого пропустить не могу. Ведь вы этак, пожалуй, напишете, что я – жеребец... или еще что в этом роде. Здесь я усматриваю оскорбление религии!

Конечно, все разъяснилось, уладилось и «антирелигиозная» заметка о кобылах была благосклонно пропущена.

Труднее мне пришлось отстаивать заметку под заглавием «Продажная скачка».

– То есть позвольте, как это продажная? Это уж оскорбление императорского общества! Разве допустимы про-даж-ные скачки?! – набросился на меня цензор.

– Да ведь «продажная» – это название приза. Это значит, что выигравшая приз лошадь обязательно продается с аукциона тотчас же после скачки...

– Я не позволю!

Пришлось дойти до председателя цензурного комитета, представить ему скаковую афишу, где скачка была озаглавлена «продажная».

Редакция сатирического и юмористического журнала «Зритель» помещалась на Тверском бульваре в доме Фальковской, где-то на третьем этаже. Тут же была и цинкография В.В. Давыдова. В.В. Давыдов был всегда весь замазанный, закоптелый, высокий и стройный, в синей нанковой, выгоревшей от кислоты блузе, с черными от работы руками, – похожий на коммунара с парижских баррикад 1871 года. По духу он и действительно был таким.

Обстановки в редакции не было никакой: некрашенные столы, убогие деревянные стулья сухаревской работы.

Мы, сотрудники, собирались обыкновенно по четвергам, приходили часам к трем, усаживались пить чай из никогда не чищенного огромного самовара, пили из дешевых, пузырчатых, зеленого стекла стаканов, с оловянными ложечками.

Сахар в пакете, в бумаге колбаса, сыр и калачи или булки, которые рвали руками. Вешали пальто на гвозди, вбитые в стену, где попало. Приходили Антоша Чехонте, Е. Вернер, М. Лачинов, тогда еще студент Петровской академии, Н. Кичеев, П. Кичеев, Н. Стружкин и еще кое-кто.

Выходил В.В. Давыдов и тут же приносил пачку материала. Обсуждали каждую мелочь вместе. Записывали экспромты, остроты, шутки. В.В. Давыдов был все – и редактор, и секретарь, и кассир. Когда были в кармане деньги, он выворачивал все на стол и делил кому что следует, а иногда прямо заявлял:

– Ни копыя нет! В субботу приходите, получу!

И всегда слово его было верно.

В журнале особый успех имел отдел «Литературное попури», где доставалось всем и каждому, не стесняясь положением, дружбой, отношениями.

Этот отдел составлялся коллективом во время наших четверговых чаев. Не щадили здесь ни своих, ни чужих, даже присутствующих. Также обсуждались всеми вместе и театральные рецензии.

Являлся М.М. Чемоданов со своими карикатурами, – их рассматривали, меняли надписи, давали ему новые темы.

В то время фамилия «М.М. Чемоданов», после его карикатуры в журнале Пушкарёва «Свет и тени», за которую слетел цензор Никотин, была страшной, и он стал подписываться «Лилин», чтобы скрыть от цензуры свое имя.

В этих беседах мы напрягали все усилия, чтобы надуть цензуру, на что очень реагировал сам В.В. Давыдов.

М.М. Чемоданов улыбался и набрасывал проекты карикатур такие, что комар носа не подточит. В каждом номере журнала появлялись такие карикатуры, смысл которых разгадывался уже тогда, когда журнал выходил в свет. В большинстве это были политические карикатуры.

Обыкновенно кто-нибудь приносил в редакцию свой набросок или рецензию, и тут же это подвергалось общей обработке.

«Виктор Крылов переделывает Гамлета на русские нравы!», «Театральные барышники получают билеты из касс театров!», «Два Ильинских обывателя собираются совершить воздухоплавание через трубу!», «Фунт крестовниковских свечей равняется 91 золотнику!»

Целая страница рецензий с массой карикатур давалась на исполнение новых пьес во всех театрах – всегда зло и остроумно.

Удивительные были эти наши заседания, на которых люди перерождались.

Важные, недоступные в своих редакциях и на местах службы – здесь они были просты, остроумны и веселы, там «важничали глупо», а здесь «дурачились умно».

У всех главной была одна мысль: как бы подвести цензора. Особенно это удавалось М.М. Чемоданову, делавшему для цензуры наброски карандашом неоконченными, а потом, уже на подписанном цензором листе, он делал два-три штриха, и появлялся или портрет известного деятеля, или такая поза у какого-нибудь начальствующего лица, что оно выходило в смешном виде.

Как-то раз М.М. Чемоданов принес рисунок на первую страницу: у ворот дома на скамейке, освещенный керосиновым фонарем (тогда так освещалась вся Москва), спит и сладко улыбается дворник. Мы все расхохотались: живой портрет императора Александра III!

– Это для друзей, а вот это для цензуры!

Показывает другой такой же оригинал, сделанный также пером: совсем другое лицо, а все остальное, как у первого.

Затем на втором рисунке делает два-три штриха карандашом, и опять выходит Александр III.

Начинается придумывание подписи. Под рисунком один из нас написал:

Покорный своей незатейливой доле,
Дворник сидит и спит.
И снится ему: на российском престоле
Такой же безграмотный дворник сидит.

– Это для друзей. Надо придумать для цензуры!

В дикий восторг пришел В.В. Давыдов, выпросил у М.М. Чемоданова рисунок и долго носился с ним, показывая направо и налево. Четверостишие ходило по Москве. К другому оригиналу я написал какие-то восемь строк насчет сна бедняка, которому грезится во сне сытый богач.

Стихи напечатаны были потом в «Осколках», но дворник «не пошел»: как раз накануне был получен циркуляр доставлять цензору карикатуры и рисунки не в оригинале, а в оттисках.

Мы озорничали и радовались, как дети, а Антон Павлович Чехов, наш главный сотрудник, писавший под разными псевдонимами, веселился больше всех.

После заседаний некоторые шли через бульвар в трактир к Саврасенкову, так как В.В. Давыдов, – убежденный трезвенник, – в редакции, кроме чаю, ничего не допускал. Только один раз это правило было нарушено.

Мы сидели за своей обычной четверговой работой. Вдруг вваливается, прихрамывая и улыбаясь своей огромной нижней губой, актер В.Н. Андреев-Бурлак.

– Четверговую соль готовите?

– А, Василий Николаевич, наконец-то! – вскочил встречать его В.В. Давыдов.

– Принес что-нибудь?

– Да я же тебе вчера слово дал!

Василий Николаевич Андреев-Бурлак был не менее талантливым рассказчиком и писателем, чем актером.

В это время была в моде его книжка рассказов «На Волге», а в «Русской мысли» незадолго перед этим имел большой, заслуженный успех его прекрасный художественный рассказ «За отца» на сюжет побега из крепости политического заключенного.

– На, получай! – и подает одной рукой тетрадку В.В. Давыдову, а другой, вынув из кармана бутылку коньяку, ставит на стол.

– Для вдохновения! Хлеб на столе, соль своя!

В.В. Давыдов даже не поморщился; откупили бутылку и налили коньяку в стаканы зеленого стекла, а Василий Николаевич в это время, по общей просьбе, стал читать принесенный им рассказ, который назывался «Как мы чумели». Его напечатали в «Зрителе», а потом осмеянная особа, кажется, генерал Лорис-Меликов, укрощавший чуму в Ветлянке, где-то около Астрахани, обиделся, и из Петербурга пришел нагоняй московскому цензурному комитету за пропущенный рассказ.

Освирепела цензура, которая к тому же узнала, что Лилин – это псевдоним М.М. Чемоданова, и довела до того, что «Зритель»,

единственный сатирический журнал всей той эпохи, был окончательно обескровлен, а В.В. Давыдов со своей цинкографией перешел в «Московский листок».

«Будильник» около полувека веселил Москву, и никто из нас, веселых сотрудников тогда веселого журнала, не знал глубокой трагедии, заложенной в основании этого самого распространенного в восьмидесятых годах юмористического органа.

В те времена и читатели и сотрудники мало интересовались, кем был основан журнал и при каких условиях.

Сотрудники жили настоящим днем, не заглядывая в прошлое: приходили со статьями, за гонораром, собирались составлять номера по субботам, видели тех, кто перед глазами, а в прошлое не заглядывали.

Кое-кто знал, правда, что основатель московского «Будильника» был художник и писатель А.П. Сухов, и этим ограничивались, не вникая в подробности его биографии, а человек это был интереснейший.

А.П. Сухов был сыном касимовского крестьянина, умершего в 1848 году от холеры. Похоронив мужа, вдова Сухова пришла со своим десятилетним мальчиком из деревни в Москву и поступила работницей в купеческую семью, а сына отдала к живописцу вывесок в ученье, где он и прожил горьких девять лет: его часто били, много и за все.

В эти годы А.П. Сухов самоучкой выучился писать и читать и самоучкой начал потихоньку от хозяина рисовать. Отслужив условленные года у хозяина, он перешел уже мастером к богомазу и принялся писать образа.

Еще восемь лет прожил он у богомаза, усиленно в это время читая все, что попадалось под руку, и рисуя. Но то и другое шло без всякой системы.

Его мать перешла работать в семью одного профессора Московского университета, с которым А.П. Сухов, посещая по праздникам свою мать, встречался.

Однажды он показал профессору свои рисунки и несколько тетрадок с написанными им рассказами и сценками из рабочего быта.

Профессор, заметив способности А.П. Сухова, посоветовал ему более серьезно и систематически заняться самообразованием.

А.П. Сухов, которому к этому времени исполнилось двадцать шесть лет, оставил богомаза, нанял комнатку за три рубля в месяц на Козихе и принялся за работу. Читал, учился по вечерам, начав с грамматики, а днем писал образа по заказу купцов.

Профессор дал ему рекомендацию в журнал «Развлечение»,

где его приняли и стали печатать его карикатуры, а потом рассказы и повести под псевдонимом «Железная маска».

Через несколько лет вышла отдельная книга А.П. Сухова «Типы темного царства», из жизни замоскворецкого купечества, которую он прекрасно изучил благодаря своей профессии богомаза.

В 1872 году А.П. Сухов завел небольшую типографию-литографию и решил издавать свой журнал.

Рязанскому мужику, конечно, такого разрешения тогда не дали, но упорный и настойчивый А.П. Сухов все-таки добился своего: он купил существовавший в Петербурге, но уже год не издававшийся журнал «Будильник». А.П. Сухов, приобретя право на издание, перенес журнал в Москву и влез в неоплатные долги: хлопоты очень дорого стоили.

Смелый и интересный журнал сразу получил в Москве большой успех и прекрасно начал расходиться в розницу, но вскоре проштрафился перед цензурой, и розничная продажа была запрещена.

Кредиторы насели, и он в конце концов принужден был уступить свое издание, сохранив за собой права постоянного сотрудничества.

В это время с ним случилась беда, окончательно добившая этого талантливого самородка-крестьянина.

А.П. Сухов был арестован в своей квартире и посажен в острог за растрату денег, якобы собранных в пользу голодающих самарцев; на самом же деле ничего подобного не было, растрата не подтвердилась, и А.П. Сухов, просидевший около года, был выпущен из тюрьмы.

Оказалось, что А.П. Сухов издал в пользу голодающих благотворительный номер «Будильника» и весь чистый барыш его отослал по назначению, но с него комитет помощи голодающим начал требовать и деньги, затраченные им на издание этого номера.

Впоследствии комитет извинился в неправильном иске, вызвавшем арест, но незаслуженный позор и тюремное заключение отозвались на здоровье А.П. Сухова: он зачах и через семь месяцев по освобождении, в 1875 году, скончался в одиночестве в своей бедной комнатке на Козихе среди начатых рукописей и неоконченных рисунков, утешаясь только одной радостью, что его мать умерла во время славы своего сына.

Я застал «Будильник» во время его расцвета. Издательницей была Л.Н. Уткина, а редактором – Н.П. Кичеев. Серьезная беллетристика, лирические стихотворения, юмористика и сатира,

насколько они были возможны после первого марта 1881 года, чередовались в журнале.

Я напечатал там свое стихотворение «Волга», проскочившее как-то случайно по цензурным условиям того времени.

Разина Стеньки товарищи славные
Волгой владели до моря Хвалынского...

Такие строчки тогда не любили, и самое имя Стеньки Разина вычеркивалось московской цензурой.

Я вошел в состав редакции, хотя работал и в конкурирующих изданиях: петербургских «Осколках», «Москве», «Волне», «Зрителе» и «Развлечении».

После Л.Н. Уткиной, потратившей все свои средства на издание, оно перешло к Арнольди. Редакторами были Н.П. Кичеев и Ал. Дм. Курепин.

В это время редакция «Будильника» помещалась на углу Тверской и Гнездниковского переулков в доме Самуила Малкиеля, прославившегося поставкой бумажных подошв для солдатских сапог во время турецкой войны 1877 года.

В этом же доме был и пушкинский театр А.А. Бренко, и типография журнала, которую содержал присяжный поверенный, родственник Малкиеля.

Интересна была тогда редакция. Такие редакционные «четверги» были еще только в «Зрителе».

Субботы в редакции были сборными днями: получали гонорар, сдавали и обсуждали всей компанией материал на следующий номер, а постоянный художник и карикатурист редакции Д.Н. Чичагов сидел обыкновенно молча в углу и делал зарисовки.

В моем архиве сохранилась такая субботняя зарисовка, сделанная с натуры и впоследствии напечатанная в юбилейном номере «Будильника» под названием «Редакционный день „Будильника“».

За столом сидят: Арнольди, Курепин, Кичеев, новый издатель Левинский; стоят Ан. Чехов, Амфитеатров, Пассек, Сергеев, а входящим в дверь изображен я, в высоких сапогах и с рукописью в руках.

В.М. Дорошевич тогда еще не работал, он пришел позднее.

В первое время, когда «Будильник» перешел к чиновнику В.Д. Левинскому, который забрал в свои руки дело и начал вымаршивать копейки, сведя гонорар до минимума и посылая агентов собирать объявления для журнала, еще держались старые редакционные традиции: были веселые «субботы» сотрудников.

Вспоминаются строки, написанные об этих собраниях В.М. Дорошевичем:

«Рассказы в этом журнале писал Антоша Чехонте и по субботам, в редакционный день, гудел баском:

– Вот буду знаменитостью, – стану брать по 15 копеек за строчку.

Огромный А.В. Амфитеатров пишет пародии – гомерический хохот стоит в редакции, когда их читают.

Бен-Иохаи поет у него – в пародии на «Уриэля Акосту», оперу Серова:

Я евреям донесу,
Донесу!
Жрет Акоста колбасу,
Колбасу!

П.А. Сергеенко – тот, что теперь вкушает только репу, говорит:

– Милые, ведь ей не больно! – и подписывается... сказать страшно: Эмиль Пуп.

Как буря, влетает в крохотную редакцию Гиляй – В.А. Гиляровский, – схватывает стул, на котором сидит сотрудник, поднимает его выше головы и относит в другой угол.

– Не беспокойся, я тебя опять на место поставлю! – и сыплет под общий хохот экспромтами.

– До чего вы только доболтаетесь! – машет рукой А.Д. Курепин – самый корректный, самый интеллигентный из редакторов в мире, мягкой, любезной рукой сдерживающий всю эту молодую, веселую, смешливую ватагу, готовую поднять на смех кого угодно, что угодно.

А милый В.Д. Левинский говорит, возвращая «рукопись» для переделки:

– Батька, длинно!

– Владимир Дмитриевич!!! Всего четыре строки!

– Добрый мой, эту мысль можно в трех строках уложить. Сократите!

Какая школа!

И среди этой молодой, жизнерадостной компании – Пассек; у него был настоящий юмор – способность смешить не улыбаясь.

Редактировать В.Д. Левинский стал сам – и все талантливое ушло. Журнал стал бесцветен, и только выручал розницу яркими обложками художник Ив. Ив. Кланг, милейший человек.

Еще работал очень долго в «Будильнике» художник А. Левитан, брат знаменитого И.И. Левитана.

В.Д. Левинский пробовал по-старому устраивать «субботы», но они уже были не те.

– Не-ет, дорогой, это нельзя, я не поставлю, – цедит сквозь зубы В.Д. Левинский.

– Ведь цензура же разрешила!

– Да, но, кроме цензуры, надо еще знать многое. По цензуре оно цензурно, а кое-кого задеваете! Кого?

– Ну, банкира Полякова, Лазаря Соломоновича.

– Вот то-то! А он принят у его сиятельства князя Владимира Андреевича. Что же тогда мне будет, если он пожалуется князю?

Как-то В.Д. Левинский вынул из пачки материала, приготовленного к приему, стихотворение и стал читать:

МУЗЫКАНТУ САШЕ

Саша, юный музыкант.

На тромбоне трубит,

Его барственный талант

Ноту «ре» не любит.

Чуть ему кто поднесет

Новую реформу,

«Ре» он мигом зачеркнет

И оставит «форму».

– Кто это «музыкант Саша»? А стихи ничего себе, звучные! – улыбнулся В.Д. Левинский. Он всегда говорил как-то не открывая рта. – Автор подписался псевдонимом «Я». Ни фамилии, ни адреса. Кто это такой, музыкант Саша? А стишок недурной!

– Да и гонорар не платить. Ведь это восемь гривен вам в карман, – подпускает И.И. Кланг.

В.Д. Левинский довел гонорар до гривенника за строку стихотворения.

– Н-да! Но вдруг оно уже было напечатано, вдруг Саша очень известное лицо?

Наконец присутствовавшие не выдержали, расхохотались, и кто-то сказал:

– Неужели вы, Владимир Дмитриевич, не знаете Сашу, который играет на тромбоне?

– Не знаю! Мало ли таких!

– Только один такой. Какой Саша дает «формы» вместо «реформы», тот и на тромбоне играет: Александр III.

– Ах, скотина! – взвыл В.Д. Левинский, покраснел и начал рвать стихи...

– Саша-то скотина? Это о государе императоре вы так?

В.Д. Левинский побледнел, вскочил и замахал руками:

– Что вы! Что вы! Кто прислал стих, вот я про кого!

Кончилось общим хохотом, в котором только не участвовал все еще бледный и дрожащий В.Д. Левинский.

Стихотворение это было довольно известное в наших кружках. Кто-нибудь прислал его В.Д. Левинскому, слегка изменив. На самом деле оно таково:

Царь наш, юный музыкант,
На тромбоне трубит,
Его царственный талант
Ноту «ре» не любит.
Чуть министр преподнесет
Новую реформу,
«Ре» он мигом зачеркнет
И оставит «форму».

Стихи ходили по Москве. Кто их прислал в редакцию, так и осталось неизвестным. Я больше не бывал в «Будильнике» – уж очень он стал елейно юмористический.

«Журнал литературно-юмористически-карикатурный». Его основал Ф.Б. Миллер в 1859 году.

Я помню его с семидесятых годов, когда он жестоко пробирал московское купечество, и даже на первой полосе, в заголовке, в эти годы печатался типичный купец в цилиндре на правое ухо и сапогах бураками, разбивавший в зале ресторана бутылкой зеркало.

Это был портрет известного богача: кругом пьяная публика, тоже портреты, а перед купцом, согнувшись в три погибели, волосатый человек в сюртуке, из заднего кармана которого торчит полуштоф водки.

Купец был М.А. Хлудов, а волосатый – Н.И. Пастухов. Автор этого рисунка, впоследствии мой большой приятель, Лавр Лаврович Белянкин, неподкупно честный человек, но «злой на перо», сотрудник «Развлечения» с начала издания, известный художник-миниатюрист с четким рисунком, умевший схватывать типичные черты оригинала и живо передававший сходство лиц. Он одевался по моде, нюхал «головкинский» дорогой табак из золотой табакерки времен Людовика XVI и жил в своем доме на Мещанской, недалеко от Сухаревки, на которую ходил каждое воскресенье, коллекционируя миниатюры и рисунки. Он работал в «Развлечении» постоянно, но давал только то, что сам хотел, и никакой критики и замечаний редактора не выносил:

– Не хочешь – не надо! Наплевать мне на твой журналичко и на тебя! – скажет, возьмет рисунок и уйдет, а через неделю приходит и встречается редактором как желанный и ожидаемый.

Если ему и давали тему – он исполнял только ту, которая ему по душе. Карикатурист 60-х годов, он был напитан тогдашним духом обличения и был беспощаден, но строго лоялен в цензурном отношении: никогда не шел против властей и не вышучивал начальство выше городского. Но зато уж и тешил свое обличающее сердце, – именно сердце, а не ум – насчет тех, над которыми цензурой глумиться не воспрещалось, и раскрыть подноготную самодура-купца или редактора газеты считал для себя великим удовольствием.

Л.Л. Белянкин был старейший карикатурист, которого я знал и с которым вместе работал немалое время в юмористических журналах.

Кроме Л.Л. Белянкина, я был знаком еще с писателем Даниловым, работавшим в «Развлечении» тоже с 1859 года, с самого основания журнала.

В 1859 году он был сослан на Кавказ рядовым, но потом возвращен за отличия в делах с горцами. Выслан он был за стихи, которые прочел на какой-то студенческой тайной вечеринке, а потом принес их в «Развлечение»; редактор, не посмотрев, сдал их в набор и в гранках послал к цензору. Последний переслал их в цензурный комитет, а тот к жандармскому генералу, и в результате перед последним предстал редактор «Развлечения» Ф.Б. Миллер. Потребовали и автора к жандарму. На столе лежала гранка со следующими стихами:

– Тятка! Эвось народу
Собралось у кабака!
Все гуторят про свободу...
Тятка, кто она така?
– Замолчи! Пущай гуторют,
Наше дело сторона...
Как возьмут тебя да вспорют,
Так узнаешь, кто она!
Волинадо.

Так и было подписано – Волинадо.

Генерал отпустил Ф.Б. Миллера, узнав, что он не видел рукописи, и напустился на автора. Показал ему читанные им на вечеринке стихи, а главное, набросился на подпись:

– Так тебе воли надо! Я тебе такую волю покажу! На Кавказ! Без выслуги! В рядовые! Ты понимаешь всю язву подписи? «Воли надо»!

– Помилуйте, ваше превосходительство, да ведь это моя фамилия. Да и стихи не мои... их все знают^[4].

– Твоя фамилия Данилов... Вот и справка из полиции.

– А прочтите наоборот: Данилов – и выходит Волинадо!

Тем не менее Данилова сослали. Стихотворение потом было где-то напечатано, а Данилов после крестьянской реформы 1861 года вернулся с Кавказа и стал писать под псевдонимом Волинадо. Историю происхождения этого псевдонима я слышал от И.А. Вашкова, многолетнего фактического редактора «Развлечения» при Ф.Б. Миллере и его наследниках и главного, а иногда и единственного сотрудника этого журнала, наполнявшего за отсутствием материала – денег не было – весь журнал: и рассказ, и мелочи, и стихи, и куплеты, и злободневный фельетон. Он подписывался «Мичман Жевакин».

Рисунки и карикатуры для журнала художники выполняли за грошовую оплату, а Л.Л. Белянкин так иногда и совсем бесплатно работал из любви к изданию.

После подписки, когда появлялись деньги, появлялись и сотрудники. Такое же тяжелое положение журнала было после смерти Ф.Б. Миллера, а в 1881 году наследники продали журнал кому-то, а затем он перешел к Александру Викторовичу Насонову.

А.В. Насонов – человек состоятельный, имел крупный пост на какой-то железной дороге. Первые годы он не занимался журналом; его по-прежнему, как и при Ф.Б. Миллере, вел И.А. Вашков, а с 1883 года им занялся сам А.В. Насонов. Его редакторство было расцветом журнала. В переходное время, когда И.А. Вашков ушел в «Московский листок», редактировал журнал П.И. Кичеев. Он выпустил несколько номеров со злейшими карикатурами Л.Л. Белянкина. Тому и другому пришлось оставить сотрудничество после следующего случая: П.И. Кичеев встретил в театре репортера «Русского курьера», которому он не раз давал сведения для газеты, и рассказал ему, что сегодня лопнул самый большой колокол в Страстном монастыре, но это стараются скрыть, и второе, что вчера на Бронной у модистки родились близнецы, сросшиеся между собою спинами, мальчик и девочка, и оба живы-здоровы, и врачи определили, что они будут жить. Репортер, поверивший старому литератору, напечатал то и другое известие в воскресном номере своей газеты.

А через три дня, в четверг, в «Развлечении» появились во весь лист карикатуры: лопнувший колокол, а рядом два близнеца с лицом Н.П. Ланина, редактора «Русского курьера», а далее сам Н.П. Ланин сидит в ванне с надписью «ланинское шампанское» и из ванны вылетает стая уток, и тут же издатель «Новостей дня» А.Я. Липскеров ловит этих уток.

Портреты того и другого, сделанные Л.Л. Белянкиным, были великолепны. После этого «происшествия» редактировать «Развлечение» стал сам А.В. Насонов, а карикатуры исполнялись Н.И. Богдановым, А.И. Лебедевым, М.Е. Малышевым, С.А. Любовниковым и Эрбером.

У А.В. Насонова по субботам за чаем собирались сотрудники, весело беседовали, придумывали темы для карикатур и разные мелочи и тут же получали гонорар. Сказал остроумно мелочь, приняли присутствовавшие – получай наличными!

Я иногда по 3 рубля зарабатывал за четверостишия на заданную тему, по 25 копеек за строку стихов; это тогда считалось крупной платой – обыкновенно за стихи платили 10 или 15 копеек. Это было в 1884 и 1885 годах.

В это время в «Развлечении» печатал много своих рассказов расправлявший могучие крылья А.П. Чехов. Присылали в журнал свои повести и рассказы маститый поэт А.Н. Плещеев, С.Н. Терпигорев (Атава), Н.Н. Златовратский, драматург П.М.

Невежин, сотрудничали в нем Д.Д. Минаев, Вас. И. Немирович-Данченко, А. Грузинский (Лазарев), Л.И. Пальмин и др.

К А.В. Насонову шли все охотно. Музыкальным отделом заведовал старый профессор Московской консерватории, композитор А.И. Дюбюк, выпускавший ежемесячным бесплатным приложением музыкальные пьесы.

К концу 1885 года дела А.В. Насонова пошатнулись, на издание не стало хватать средств, пришлось передать журнал, который и приобрел некто Щербов, человек совершенно никому не известный и чуждый литературе.

А.В. Насонов отдал ему издание за долги, но первое время был редактором, а с 1886 года появилась подпись одного Щербова. Узнав это, все лучшие сотрудники ушли, из художников остался один А.И. Лебедев, снова явился из «Будильника» Л.Л. Белянкин, после чего Щербов издательствовал недолго.

Совершенно неожиданно «Развлечение» перешло в собственность Ивану Андреевичу Морозову, книжнику-лубочнику с Никольской, издававшему копеечные листовки и разные «страшные» повести или романы известных писателей, но под другими названиями, а то и под теми же, но авторы были другие.

Главным сотрудником, по существу редактором, так как сам был полуграмотным, Морозов пригласил А.М. Пазухина, автора романов и повестей, годами печатавшихся непрерывно в «Московском листке» по средам и пятницам. И в эти дни газетчики для розницы брали всегда больше номеров и говорили:

– Как же-с, по постным дням фельетоны Алексея Михайловича!

А.М. Пазухин имел большой успех у читателей этой газеты.

Сотня романов, написанных А.М. Пазухиным, самых сердцещипательных, бытовых романов всегда с благополучным концом невольно заставляла любить добряка-автора. Романы эти по напечатании в «Листке» покупались очень задешево приложениями к журналам вроде «Родины» и разными издателями и распространялись среди простого читателя.

В числе издателей романов А.М. Пазухина был и книжник Морозов.

Как-то Морозов вызвал А.М. Пазухина в трактир на Лубянской площади, где он обыкновенно за чайком вершил все свои дела, и говорит:

– Алексей Михайлович, ко мне набиваются с товарцем, журналичко предлагают – «Развлечение»! Как ты думаешь, справимся? Я на тебя рассчитываю!

– Да ведь его Щербов, человек богатый, издает.

– Надоел он ему. Задарма отдает, только подписчиков за два

месяца удовлетворить, с 1 ноября. Только гляди, чтоб дешево, дорогих сотрудников не надо. Вот Кузьмича возьми. Он и недорог и писуч! Роман ему огулом за сотню на полгода закажем. Идет?

– Ладно, бери!

И стал Морозов издавать «Развлечение». Полномера напишет сам А.М. Пазухин, а другую половину Иван Кузьмич Кондратьев, автор ряда исторических романов. Стихи, мелочи и карикатуры тоже получались по дешевой цене или переделывались из старых.

Недолго издательствовал Морозов – выгоды было мало. Ему гораздо больше давали его лубки, оракулы, поминанья и ходовые «Францэли Венецианы», да и «Битва русских с кабардинцами». Нашелся покупатель, и он продал журнал. «Развлечение» перешло к Николаю Никитичу Соедову, агенту по продаже и залогу домов при Московском кредитном обществе.

Н.Н. Соедов, имевший в Москве обширное знакомство, друживший с литераторами и артистами, хлебосол и душа общества, оказался талантливым издателем.

Дело у Н.Н. Соедова пошло недурно. Появились хорошие сотрудники, привлеченные хлебосольством хозяина. На квартире у него стали устраиваться еженедельно деловые вечеринки, начинавшиеся обсуждением тем и заканчивавшиеся веселым ужином.

Памятна мне вечеринка перед днем пятидесятилетия журнала, где обсуждался выпуск большого юбилейного номера. На нем Федор Иванович Шаляпин, еще начинавший только что свою карьеру, восхищал всех своим молодым голосом и в первый раз в Москве на этой вечеринке спел «Дубинушку», а мы хором подпевали.

Особенно восторгался пением очень молчаливый и замкнутый художник Сергей Васильевич Иванов и тут же пообещал дать рисунок для юбилейного номера, а когда я прочел свою поэму «Стенька Разин», – Сергей Васильевич заявил:

– Я дам Стеньку Разина!

Через несколько дней С.В. Иванов принес большую акварель, изображающую Волгу под Жигулями и разбойничью ватагу в лодке под парусом. Подписал под ней: «Стеньки Разина ладья».

Цензура, пропустив картину, сделанную во всю страницу красками, изменила подпись, заставив напечатать: «Понизовая вольница».

Картина С.В. Иванова была украшением этого прекрасного, изданного на великолепной бумаге объемистого номера, где были помещены портреты всех сотрудников журнала, во главе которых стоял первый издатель Ф.Б. Миллер. Интересно, что в этом номере были стихи Ф.И. Шаляпина, кажется, никогда до этого не

писавшего стихов.

Журнал шел без убытка, но коммерческие дела Н.Н. Соедова как-то запутались, и ему пришлось продать журнал. В это время этот ловкий делец и нашел Н.И. Пастухова, которого – все дивились – сумел уговорить приобрести у него издание.

Н.И. Пастухов купил «Развлечение», сделал его – совсем неожиданно для всех – бесплатным приложением к «Московскому листку» и через год, потратив для этого большие деньги, также неожиданно прекратил этот старейший в Москве юмористический журнал, в котором полвека его ругали и высмеивали в тексте и карикатурах.

...Хлебник, немец аккуратный,
В бумажном колпаке, не раз
Уж отворял свой васисдас.

Как только вспомню эти строки, так сейчас же приходит на ум солидный, чистенький-чистенький немец с брюшком, в цветном жилете с золотой цепью, блондин, с вьющейся бородой, гладко причесанный, с большими серыми глазами, которыми как-то особо убедительно он всегда смотрел в глаза собеседника.

По наружности с него художнику рисовать бы Гамбринуса в молодости, а по чисто русскому купеческому говору – Н.А. Лейкину писать одного из героев его книжки «Наши за границей».

У него одно время на Петровке была контора по продаже имений и домов – и когда он уставится на покупателя своими убедительными, честными немецкими глазами, так тот не уйдет из конторы, не продав или не купив то, что ему Владимир Эмильевич Миллер предложит.

Никому, всегда всем довольный, он не завидовал, да как-то один из клиентов конторы посоветовал ему открыть при конторе свою газету как рекламу делу.

– Сколько вы деньжищ за рекламу своей конторы переплатите в газеты, а тут своя будет: каждый день печатай даром!

– Я ведь только в двух газетах печатаю объявления о продаже и покупке: в «Московском листке» и «Новостях дня».

– У кого печатаете? У бывшего кабатчика, безграмотного Пастухова, и у московского цехового мещанина из евреев Липскерова? Уж если у них дело пошло, как же у вас не пойдет! Открывайте газету, всех забудьте!

И в первый раз в жизни отвел В.Э. Миллер от глаз собеседника свои убедительные глаза и не сказал ни да, ни нет.

А мысль иметь свою газету, главное, чтоб рекламировать свое дело, засела прочно в упорной немецкой голове.

Целый год ходил, думал, рассчитывал, рисовал себя владельцем и редактором газеты, в которой он будет на полстранице перечислять все дома и имения, порученные его конторе для продажи, – и от покупателей отбою не будет.

– Нет, надо свою газету, деньги есть на первое время, а там... О! Но, конечно, надо не сразу, а исподволь!

Ходил в старину рассказ о немце, которому подарили щенка-фоксика и сказали, что ему надо обязательно хвост обрубить.

Осмотрел владелец фоксика хвост – и стало ему жаль его рубить в указанном месте, уж очень больно будет. Надо не сразу, исподволь, с тонкого конца. И отрубил самый тонкий сустав на конце хвоста, а там привыкай, и до толстого дойдем исподволь.

Не говоря никому ни слова, В.Э. Миллер выхлопотал для развития своего коммерческого дела разрешение издавать два раза в неделю «Русский справочный листок» с куцей программой.

Фактическим редактором газеты был старый литератор, милый человек, Пятницкий, у которого при массе достоинств был один недостаток: пьян с утра!

В буфете театра Корша я увидел Пятницкого, который с молодым Гамбринусом пил пиво, и тут при первом взгляде на новоиспеченного редактора вспомнились мне пушкинские строки, а на другой день я любопытствовал посмотреть и открытый им «васисдас», в котором я и прочитал рассказ о немце и щенке в отделе хозяйственных сведений.

Убогая была газетка, но В.Э. Миллер знал, что делал. В продолжение трех лет два раза в год он ездил в Петербург в главное управление по делам печати, уставляя свои убедительные глаза на управляющего, всучивал ему прошение с просьбой добавки в программу то театрального отдела, то справочного, то беседы с читателями, и так исподволь довел «Русский справочный листок» до ежедневной газеты с довольно широкой программой и наконец в заключение всего явился опять к главному управляющему по делам печати, уставил на него невинные убедительные глаза и сказал:

– Ваше превосходительство, до сих пор я просил вас о расширении программы, а теперь буду просить о сокращении!

А сам держит наготове прошение и убедительно в генеральские глаза смотрит и читает в них недоумение, вызванное неслыханной доселе в стенах этого здания просьбой.

– Как? Как? О сокращении?

– Так точно... изволите ли видеть, ваше превосходительство, газета называется «Русский справочный листок», уж очень и в типографском отношении некрасиво, и вид заголовка пропадает, вычеркнуть бы его.

– Ха-ха-ха! И только?

На другой день с новым заголовком в сумках газетчиков лежал «Русский листок».

И все-таки газетка была убогая.

Встретил я как-то в ресторане «Палермо» в Рахмановском переулке Пятницкого вполпьяна.

– Ну, как «Русский листок»?

Пятницкий, не отрывая от кружки с пивом рта,

неодобрительно мотал головой.

– А все-таки Миллер молодец – исподволь от «Листка объявлений» добился газеты!

Пятницкий, допивая остатки пива, одобрительно качнул головой, поставил кружку и вытер бороду и усы.

– Сделал он все так же, как тот немец, который исподволь фоксу хвост рубил.

– Ты почему знаешь?

– Как почему? Да газету купил тогда и прочитал!

– А не Пазухин тебе сказал?

– Нет, не Пазухин! Своими глазами в «Русском справочном листке» в хозяйственном отделе прочитал.

– Значит, подлецы, выкрали!

За следующими кружками пива выяснилось дело. А.М. Пазухин, который под псевдонимами потихоньку от Н.И. Пастухова давал сценки в газету В.Э. Миллера, дал и эту мелочь. Она прошла вместе с другими.

Газета печаталась в количестве одной тысячи днем по средам и субботам, а газетчикам раздавалась по четвергам и воскресеньям.

– В субботу, выпустив номер, – рассказал Пятницкий, – я пошел сюда, в «Палермо» (редакция была почти рядом, на Петровке). Сажу за пивом, вдруг вбегает взбешенный Миллер – глаза сверкают, губы дрожат, в руках газета. Сел со мной, больше никого в комнате этой не было, положил передо мной газету, левой рукой тычет в нос, а правой вцепился мне в плечо и шепчет, точь-в-точь как Отелло Дездемоне: «Платок! Платок!»:

– Это что? Эт-то что?

Читаю о немце и фоксике.

– Ну что же – вполне цензурно!

– Да ведь это же насмешка надо мной! Кто дал?

– Пазухин!

– Я ему, хромоту, другую ногу перешибу!

А потом тихо:

– Набор цел? Не разобрал еще?

– Не успели...

– Так идите в типографию и вместо этого пошлого анекдота поместите какое-нибудь объявление о продаже дома и перепечатайте... тысячу номеров, а те сожжем...

Я слушал и хохотал.

– Да, вот тебе смешно, а я чуть места не лишился, а Пазухин здесь тоже ни при чем, он этот анекдот стибрил из старинного «Развлечения»!

«Русский листок» шел плохо, но В.Э. Миллер не унывал. Сотрудники получше к нему не шли, компаньонов не находилось, а он, веселый и энергичный, крутился волчком, должен был в типографиях, на каждый номер добывать бумаги, иногда в долг, реже на наличные, а все-таки верил в успех, аккуратно выпускал газету и наконец стал искать компаньона.

– Завязнешь ты в этом болоте! – сказал ему оптовик-газетчик П.И. Ласточкин, которого он звал в компаньоны.

– Было бы болото, а черти будут! – смеялся в ответ В.Э. Миллер.

– Цензуру сними, – посоветовал в ответ Ласточкин.

Газета была еще подцензурная, что очень влияло на свежесть известий, которые появлялись позднее, вследствие того что гранки не успевали иногда вернуться от цензора.

В.Э. Миллер опять появился в Петербурге в главном управлении по делам печати и устремил свои убедительные глаза на главноуправляющего Соловьева, который не отказал Миллеру в его просьбе, но сказал:

– Разрешу при одном условии – если редактором вы возьмете К.П. Цветкова.

В.Э. Миллер, знавший К.П. Цветкова как издателя детского журнала «Малютка» и сотрудника «Московских ведомостей», согласился, и под газетой, уже «без предварительной цензуры», появилась надпись: «Издатель – В.Э. Миллер, редактор – К.П. Цветков».

Бесцензурная газета подняла престиж В.Э. Миллера, и богатый оптовый торговец бумагой П.М. Генцель открыл ему кредит, а через год, в 1897 году, когда долг В.Э. Миллера возрос до крупной суммы, и сам вошел в компаньоны. Появилась под газетой подпись: издатели В.Э. Миллер и П.М. Генцель. Это был троянский конь!

В.Э. Миллер окончательно запутался в долгах, и в 1898 году подписи В.Э. Миллера под газетой уже не было, а издателем подписывался Н.Л. Казецкий, юрисконсульт фирмы П.М. Генцеля, потом исчезла подпись редактора К.П. Цветкова, и с 34-го номера 1899 года под «Русским листком» стояло: редактор-издатель Н.Л. Казецкий. Газета полностью перешла к нему.

Ожило дело. Н.Л. Казецкий всю свою энергию вложил в газету и привлек сотрудников, чтобы дать издание, как он говорил, на «американский образец».

Самому Н.Л. Казецкому, как гласному Городской думы, занятому, помимо судебных дел, и общественными делами, заниматься газетой было некогда, и он доверялся фактическим редакторам.

Одним из первых появился М.М. Гаккебуш, не брезговавший никакими средствами, чтобы поднять розницу и заставить москвича читать «Русский листок».

Сенсации придумывались, сплетни печатались, и газета явилась в Москве первой представительницей желтой прессы.

Разухабисто вел в ней театральные отчеты Ф.Д. Гриднин, явился из Одессы некий Редер, к характеристике деятельности которого можно сказать, что впоследствии он был выслан из Москвы за газетные шантажи.

Менялись редакторы – менялось лицо газеты. При А.П. Ландберге она стала приличной, в ней появились фельетоны-романы, излюбленные Москвой.

Из числа романистов печатались: Северцов-Полилов, Андрей Осипов, Назарьева, Д.С. Дмитриев. Родион Менделевич (Меч) ежедневно пересыпал газету звучными юмористическими стихами. Из злободневных фельетонистов имел большой успех Н.Г. Шебуев, который, окончивши университет, перешел в «Русский листок» из «Новостей дня» и стал писать передовые статьи и фельетоны, для которых брал судебные отчеты и делал из этих отчетов беллетристические бытовые сценки, очень живо написанные.

Н.Г. Шебуев в это время служил помощником судебного следователя при окружном суде и заведовал районом преступной Грачевки, откуда и брал сенсационный материал. Он первый ввел этот жанр в газеты.

Вскоре Н.Г. Шебуев бросил службу и окончательно перешел в литературу. Здесь начал свою работу Александр Петрович Волков, ставший впоследствии одним из лучших репортеров.

Время от времени отрываясь от судебных и общественных дел, сам Н.Л. Казецкий становился во главе газеты – в редакции гремел гром и сверкали молнии.

Уж очень Н.Л. Казецкий был шумен, иногда резок, но его все любили – и сотрудники, и мелкие служащие, и обширная типография. Несмотря на свою грубость и несдержанность, он был очень отзывчив, входил в нужды своих сотрудников и широкой рукой помогал им без отказа в тяжелые минуты жизни. Таких редакторов было только два: он и Н.И. Пастухов.

Московские литераторы, не работавшие в «Русском листке», не любили его за резкость и выступления на разных собраниях, и только из-за этого все его предложения вызывали шумные споры и в конце концов их проваливали, как бы они целесообразны ни были.

На подготовительных заседаниях представителей печати по поводу предстоящего какого-то юбилея он предложил создать в

память этого праздника убежище для престарелых журналистов на средства от оплаты всех перепечаток вплоть до репортерских заметок.

Сумма получилась очень большая, но это, конечно, невыгодно было издателям газет. На Н.Л. Казецкого набросились, проект провалили, а он, быстро уходя, рявкнул на весь зал:

– Не стоило метать бисер перед свиньями! Тьфу!

Собрание проводило его улюлюканьем и свистом. Впоследствии Н.Л. Казецкий переименовал название своей газеты, она стала называться «Раннее утро» и шла хорошо в розницу.

Социал-демократическая «Искра» как-то отозвалась, что московский «Курьер» «кокетничает с марксизмом девяностых годов».

Это было, пожалуй, довольно верно: подцензурным газетам девяностых годов можно было только «кокетничать с марксизмом».

Более серьезное отношение являлось невозможным, особенно «Курьеру» – газете с предварительной цензурой, где каждая статья с предубеждением прочитывалась цензором: его пугал один веявший в газете дух В.А. Гольцева.

Часто приходилось авторам самим ездить или в цензурный комитет, или даже на квартиры цензоров, обитавших в каких-нибудь казенных зданиях, или где-нибудь в маленьких домишках на пустырях Кошатиной деревни, заселенной кошкодавами и темным людом, завсегдатаем притонов Сенной площади и Оружейного переулка.

Но, несмотря на строгость цензуры, «Курьер» все-таки был в те годы единственной радикальной московской газетой, в которой работала молодежь: В.М. Фриче, П.С. Коган, В.М. Шулятиков.

«Курьер» как-то неожиданно вырос на поле московской журналистики. Подпись под газетой была: издатель – А.Г. Алексеев, редактор – Я.А. Фейгин.

Происхождение «Курьера» имеет свою историю, которая, конечно, теперь забыта, да и в те времена знали ее далеко не все. И то знали кусочками, каждый свое.

В 1892 году появился в Москве кавказский князь Нижерадзе, молодой, стройный, редкой красоты.

В богатой черкеске с золотыми газырями и кинжалом на чеканном поясе, он выделялся среди наших сюртучников и фрачников и сделался всюду желанным гостем и кумиром московских дам.

В 1893 году, может быть для положения в обществе, он стал издавать ежедневную газетку «Торговля и промышленность», которую продолжал и в 1894 году, выпустив 190 номеров. И вдруг изменил ее название.

Сто девяносто первый номер вышел уже под названием «Курьер торговли и промышленности».

В конце года соиздателем явился владелец типографии, где печатался «Курьер», а окончательно прогоревший князь исчез

навсегда с московского горизонта, к великому горю своих кредиторов, в числе которых был и типограф.

Вскоре после исчезновения князя прекратился в конце года и «Курьер», в мае 1895 года вышел снова в новом издательстве Е. Коган, а в сентябре 1896 года под газетой стояла подпись: редактор-издатель Я.А. Фейгин.

Это был небольшой хромой человечек, одевавшийся по последней моде, сверкавший кольцами с драгоценными камнями на пальцах. Он занимал какую-то видную должность в страховом обществе «Якорь». Его знала вся веселящаяся Москва, на всех обедах он обязательно говорил речи с либеральным уклоном, вращался в кругу богатых москвичей, как и князь Нижерадзе, и неукоснительно бывал ежедневно на бирже, а после биржи завтракал то в «Славянском базаре» среди московского именитого купечества, то в «Эрмитаже» в кругу московской иностранной колонии.

Как-то на заборах Москвы тех времен появилась огромная афиша с полуаршинными буквами: «Дикая Америка».

Упоминалось в этой афише имя знаменитого предпринимателя американского ковбоя Буффало-Биль, но, конечно, здесь и духом его не пахло.

Приехало десятка два татуированных и раскрашенных индейцев с перьями на голове, несколько ковбоев в соломенных шляпах и с убийственными шпорами, которыми можно пропороть шкуру слона.

Шпоры эти были приготовлены для укрощения «диких мустангов», за каждого из которых ни один цыган на Конной больше красненькой не даст.

– Ну и шкапы-кабысдохи! – метко определил мой товарищ-казак, с которым мы пришли в огороженное забором место этого дикого табора на Ходынке.

Внутренность индейского лагеря была оригинальна даже для Москвы, повидавшей все.

«Шкапы-кабысдохи» паслись на свободе, в вигвамах полуголые медно-красные индейцы сидели вокруг очага и пальцами, должно быть никогда не мытыми, рвали мясо, поджаренное тут же на углях, и вместо хлеба ели из котелка горячие жареные орехи, те самые, которые по пятаку за стакан с той поры продавались разносчиками на улицах под названием китайских орехов. Приготовлением пищи занимались женщины, а кругом бегали полуголые, как в цыганском таборе, будущие вожди племени сиу, к которому принадлежали, как значилось в афише, эти дикие индейцы, показывавшие мне свои томагавки и

лассо для ловли лошадей.

Мне как представителю прессы показали ковбои несколько приемов: с помощью лассо ловили лошадей, скакали, джигитовали, вольтижировали.

Меня, привыкшего к табунной жизни в задонских степях, где действительно арканятся и выезжаются могучие лошади, до четырех лет не выдавшие человека, смешили эти убогие приемы, которые они применяли с серьезными лицами, а мой товарищ-казак все, что они делали, в гораздо лучшем виде повторил перед ними, да я и сам вспомнил старинку.

Все были поражены, а антрепренер сконфужен и просил меня ничего не писать о том, что было на репетиции. Это был небольшого роста человечек, привезший из-за границы эту «Дикую Америку», которая, по его словам, имела большой успех в Европе.

«Дикая Америка» в Москве, выдавшей цыганские таборы и джигитовку казаков, успеха не имела. Я исполнил просьбу и вообще ни строчки не написал о «Дикой Америке», не хотел обижать знакомого мне антрепренера, отца Я.А. Фейгина, который показался очень симпатичным и милым, а главное, жаль было оставить голодными на чужой стороне привезенных индейцев.

Прогорела «Дикая Америка», исчез Фейгин-отец, а Фейгин-сын все ярче и ярче сверкал в Москве.

С начала 1897 года подпись Я.А. Фейгина появилась еще в числе пятерых издателей под новым журналом «Бюллетень Хлебной биржи». Последний издавался на средства богатых московских хлебных торговцев, а о втором его издании – «Курьере торговли и промышленности» – редактор «Московского листка» Н.И. Пастухов ядовито замечал, что он «жареным пахнет».

В «Курьере торговли и промышленности» печатались отчеты товариществ и обществ, а также разные оплаченные статьи, которые умел добывать предприимчивый Я.А. Фейгин благодаря связям с коммерческим миром: многие товарищества с миллионными оборотами без затруднений могли заплатить сотню-другую рублей за напечатание рекламной статьи или отчета в газете с таким громким названием.

Такие публикации зависели от директоров-распорядителей, с которыми Я.А. Фейгин встречался за завтраками в «Эрмитаже».

У Я.А. Фейгина явились деньги, захотелось славы редактора политической газеты, но все-таки издавать одному большую газету ему было не под силу, и он составил компанию, в которую вошли два присяжных поверенных – И.Д. Новик, Е.З. Коновицер –

и два брата Алексеевых, молодые люди купеческого рода, получившие богатое наследство.

Я.А. Фейгин поехал в Петербург и благодаря своим знакомствам ухитрился перефасонить свой «Курьер торговли и промышленности» на ежедневную газету «Курьер» с довольно обширной программой, но и с предварительной цензурой.

Это было сделать гораздо легче, чем выхлопотать новое издание. Тогда министерство внутренних дел не разрешало никому издание новых газет.

Много денег дали братья Алексеевы, и составила организованная при помощи В.А. Гольцева, сумевшего пригласить и старых журналистов, и ученых, и молодежь, редакция левого направления.

В.А. Гольцев, руководивший политикой, писал еженедельные фельетоны «Литературное обозрение», П.С. Коган вел иностранный отдел, В.М. Фриче ведал западной литературой и в ряде ярких фельетонов во все время издания газеты основательно знакомил читателя со всеми новинками Запада, не переведенными еще на русский язык.

В.М. Фриче, П.С. Коган и В.М. Шулятиков, молодой критик и публицист, составляли марксистский кружок газеты.

Так как цензура была очень внимательна к новому изданию в отношении политических статей, то пришлось выезжать на беллетристике и писать лирически-революционные фельетоны, что весьма удавалось В.М. Фриче и П.С. Когану.

Под газетой значилась подпись: издатели – А.Г. Алексеев и Я.А. Фейгин, редактор – Я.А. Фейгин.

А.Г. Алексеева в редакции почти никто не видал, показывался он иногда только на товарищеских редакционных собеседованиях, происходивших в ресторанах «Эрмитаж» или «Континенталь», а также в «России» в Петровских линиях, которая помещалась рядом с редакцией.

Я.А. Фейгин метался по своим делам по Москве, а фактическим редактором был И.Д. Новик. Первые месяцы газета шла, конечно, слабо, направление еще ярко не определилось, но ее счастью помогло чужое несчастье.

В 1898 году 21 апреля «Русские ведомости» получили третье предостережение с приостановкой издания на три месяца за «сбор пожертвований в пользу духоборов с распубликованием о сем в номере девяносто третьем газеты».

«Русские ведомости» прекратились и предложили своим подписчикам на время запрещения заменить свою газету «Курьером», как более подходящим по направлению к «Русским

ведомостям», чем все остальные московские газеты.

У «Курьера» прибыло сразу восемь тысяч подписчиков на эти два месяца.

– Из богадельни да в акробаты! – кто-то метко сострил тогда.

Для газеты создавалась обстановка, при которой можно было сверкнуть ярче, чем «Русские ведомости», и тем удержать подписчиков. Тут понадобилось и расширение беллетристического отдела, и пригодились лирические революционные фельетоны. Были приглашены лучшие силы по беллетристике, появились Д.Н. Мамин-Сибиряк, К.М. Станюкович, Вас. И. Немирович-Данченко, И.Н. Потапенко, И.А. Бунин, В.В. Каллаш, Д.Л. Мордовцев, Н.И. Тимковский, поэты К.В. Бальмонт, В.Я. Брюсов, Лев Медведев, Е.А. Буланина и много других.

За время существования «Курьера» многие русские писатели, ставшие известными впоследствии, в нем начинали свои работы: Леонид Андреев, Борис Зайцев, Георгий Чулков, Гусев-Оренбургский, Е. Гославский.

Леонид Андреев сначала был в «Курьере» судебным репортером. С захватывающим интересом читались его художественные отчеты из окружного суда. Как-то он передал И.Д. Новичу написанный им рождественский рассказ, который и был напечатан. Он очень понравился В.А. Гольцеву и И.Д. Новичу, и они стали просить Леонида Андреева продолжать писать рассказы.

С каждым новым рассказом слава Леонида Андреева росла, и разные издания стали забрасывать его приглашениями.

В один счастливый день вдруг он проснулся знаменитостью, но все еще не оставлял свои судебные отчеты, что, конечно, отвлекало его от беллетристики.

– Леонид Николаевич, вы вчера хотели дать новый рассказ, – как-то сказал ему И.Д. Новик.

– Хотел, Исаак Данилович, да вчера после заседания попал под суд.

– Как под суд?

– Да вот так.

И объяснил, как он попал.

Попасть под суд – это значило после заседания в окружном суде спуститься в нижний этаж здания, где как раз под Митрофаньевской залой находился очень хороший буфет и всегда собиралась очень веселая товарищеская компания.

В самые первые дни славы Леонида Андреева явился в редакцию «Курьера» сотрудник «Русского слова», редактировавший приложение к газете – журнал «Искры», М.М. Бойович с предложением по поручению И.Д. Сытина дать ему

рассказ.

– Хорошо, – сказал Леонид Андреев, – дам. Условия такие: десять копеек строка и пятнадцать рублей авансом.

– Я передам условия И.Д. Сытину и завтра принесу ответ.

На другой день в те же часы приходит М.М. Бойович в редакцию и застаёт Леонида Андреева за чтением только что полученной книжки «Русского богатства», в которой Н.К. Михайловский расхвалил Андреева.

– Леонид Николаевич, Иван Дмитриевич Сытин согласен на условия, вот и аванс!

Леонид Андреев молча показал статью Н.К. Михайловского М.М. Бойовичу и сказал:

– Сегодня условия другие: 25 копеек строчка и 50 рублей аванс!

Весело и дружно работала редакция «Курьера». Прошел второй год издания, но цензура становилась все строже, конкурировать с бесцензурными газетами было все труднее и труднее.

Многих провинциальных подписчиков отбила петербургская «Россия», талантливо редактируемая А.В. Амфитеатовым и В.М. Дорошевичем, а когда она была закрыта через год, старые подписчики к «Курьеру» не вернулись.

Цензура придиралась, закрывая розницу, лишала объявлений. Издательские карманы стали это чувствовать, что отозвалось и на сотрудниках. Начались недоумения, нелады: кружок марксистов держался особняком, кое-кто из сотрудников ушел. Цензура свирепствовала, узнав, какие враги существующего порядка состоят в редакции. Гранки, перечеркнутые цензурой, возвращались пачками, а иногда и самого редактора вызывали в цензуру и, указывая на гранки, обвиняли чуть не в государственном преступлении.

– Что вы думали, посылая подобные вещи?

А И.Д. Новик не унывал и все посылал и посылал цензорам горячий материал. Алексей Максимович Горький прислал сюда своего «Буревестника», который был возвращен в редакцию изуродованный донельзя черными чернилами в отдельных строках и наконец сразу перечеркнутый красными крест-накрест.

В то время, когда газеты кричали о вечном мире, я написал два противоположных стихотворения – одно полное радости, что наконец-то строят «здание мира», а другое следующее:

Заседанье было в Гааге,
Были речи, шумный пир.

В целом мире на бумаге
Водворился вечный мир.
После дичи, после супа
От речей раздался стон:
Заказали вновь у Круппа
Новых пушек миллион.

Первое напечатали, а второе зачеркнутым было возвращено с отеческим выговором редактору. Цензоры никак не думали, что скоро «миллион пушек» понадобится для грядущей войны. Сытые чиновники, верившие в свою силу, не чувствовали приближения бури грядущего.

А тут еще А.В. Луначарский, приглашенный В.А. Гольцевым и находившийся тогда в ссылке в Вятке, прислал «Курьеру» блестящую статью: «В боевой готовности».

В каждой строке статьи чувствовалось веяние приближающейся революции.

«Курьер» вступил в четвертый год издания. В редакции шли какие-то недоразумения. Редактировал газету некоторое время В.П. Потемкин, сыпались кары на газету – цензура становилась злее с каждым днем.

Издателю надоело доплачивать убытки. И в это время поэт Скиталец прислал свое известное революционное стихотворение «Гусляр».

Цензура ли проморгала этот грозный призыв «бить по пустым головам», редакция ли недосмотрела, – но «Гусляр» появился в газете, да еще на первой странице.

Бумм! На всю Москву бумм! Цензор С.П. Соколов арестован.

Номера, отбираемые полицией, продавались в тот же день газетчиками по рублю, а ходовой сообразительный оптовик-газетчик Анисимов, имевший свою лавочку в Петровских линиях, нажил на этом деньги, долгое время торгуя «Курьером» из-под полы.

Кажется, этим и окончил «Курьер» свое яркое и короткое существование.

В девяностых годах минувшего века собирались аккуратно литераторы, принимавшие участие в журнале «Детское чтение», у его издателя Дмитрия Ивановича Тихомирова в собственном его доме на Большой Молчановке.

Это были скучнейшие, но всегда многолюдные вечера с ужинами, на которых, кроме трех-четырех ораторов, гости, большею частью московские педагоги, сидели, уставя в молчании «брады свои» в тарелки, и терпеливо слушали, как по часу, стоя с бокалами в руках, разливались В.А. Гольцев на всевозможные модные тогда либеральные темы, Н.Н. Златовратский о «золотых сердцах народа», а сам Д.И. Тихомиров, бия себя кулаками в грудь и потрясая огромной седой бородищей, вопиял:

– Мы – народ! Мы – служители народного просвещения!

Слушали, ели и пили собственное тихомировское вино из его крымского имения «Красная Горка». Чокались водянистым «зандом» и кислым «аликантом» и ждали, когда литератор – рассказчик В.Е. Ермилов или нетерпеливый экспромтист перебьет текущую плавно элоквенцию какой-нибудь неожиданной шуткой или веселым анекдотом. Тогда все оживали впредь до новой речи.

Кончались речи и неожиданными сюрпризами. Был случай, когда тишайший Н.Н. Златовратский вцепился в бородку благовоспитанного В.А. Гольцева, вцепившегося в свою очередь в широкую бороду Н.Н. Златовратского, так что их пришлось растаскивать соседям. Они ярко выразили свое несходство в убеждениях: В.А. Гольцев был западник, а Н.Н. Златовратский – народник.

Это, помню, был вечер очень многолюдный, на котором присутствовал, между прочим, и педагог-писатель В.А. Острогорский, который вступился за В.А. Гольцева, а Д.И. Тихомиров – за Н.Н. Златовратского. Они, В.А. Острогорский и Д.И. Тихомиров, старинные друзья, после сели рядом и молча пили водку, время от времени кидая друг на друга недружелюбные взгляды; у В.А. Острогорского еще сильнее косили глаза, а Д.И. Тихомиров постукивал своей хромой ногой. Мне удалось тогда сорвать напряженное состояние вечера шуткой, за которую на меня после очень косился Д.И. Тихомиров, – но на этот раз она достигла своей цели, развеселила гостей, и вечер прошел прекрасно.

Я встал, взял стакан с «аликантом», кто-то стукнул вилкой по тарелке, и стол устремил на меня глаза. Указывая на дующихся друзей, я сказал:

Сидят приятели за водкой.
Но не пойму я одного:
С ним Митя на ноге короткой.
Он – косо смотрит на него!

А потом В.Е. Ермилов ввернул какую-то шутку, и все весело и шумно просидели до утра.

Впоследствии как-то эти воскресенья сошли на нет и к 1905 году прекратились.

Вначале бывали на них: почти всегда оба Немировича-Данченко, Д.Н. Мамин-Сибиряк, А.С. Серафимович, братья Бунины, Ладыженский, Е.А. Буланина, Альбов, Елпатьевский, С.С. Голоушев, В.М. Лавров, Соловьев, Федоров-Давыдов и многие профессора и видные педагоги.

В 1881 году я служил в театре А.А. Бренко. Мой старый товарищ и друг, актер В.Н. Андреев-Бурлак, с которым мы тогда жили вдвоем в квартирке, при театре на Тверской, в доме Малкиеля, напечатал тогда в «Русской мысли» прекрасный рассказ «За отца», в котором был описан побег из крепости политического преступника.

Это был первый сотрудник самого толстого в скромной серенькой обложке московского ежемесячника «Русской мысли», с которым я познакомился и который познакомил меня с издателем В.М. Лавровым и редактором ее С.А. Юрьевым.

Знакомство состоялось у артистов нашего театра М.И. Писарева и А.Я. Гламы-Мещерской, у которых часто бывали многие литературные знаменитости того времени: С.А. Юрьев, В.М. Лавров, В.А. Гольцев и весь кружок «Русской мысли»; наезжали петербургские писатели: Г.И. Успенский, Н.К. Михайловский, А.Н. Плещеев.

Я уже напечатал тогда в журнале «Москва» у Кланга свою поэму «Бурлаки», которая сопровождалась цветной репродукцией репинской картины «Бурлаки».

В дальнейшем я встречался с ними то у М.И. Писарева, то у В.М. Лаврова.

«Русская мысль» – создание двух человек: С.А. Юрьева и В.М. Лаврова.

Сергей Андреевич Юрьев был одним из самых оригинальных литературных представителей блестящей плеяды людей сороковых годов: выдающийся публицист, критик, драматический писатель, знаток сцены, ученый и философ.

Еще в 40-х годах он окончил в Москве математический факультет, получил место астронома-наблюдателя при обсерватории Московского университета и написал две работы «О Солнечной системе». Вследствие болезни глаз бросил свою любимую науку и весь отдался литературе: переводил Шекспира, Кальдерона, Лопе де Вега, читал лекции и в 1878 году был избран председателем Общества любителей российской словесности, а после смерти А.Н. Островского – председателем Общества драматических писателей. В 1880 году основал журнал «Русская мысль».

В это время в Москву приехал из г. Ельца, Орловской губернии, молодой человек, купеческий сын, получивший чуть ли не миллионное наследство.

В.М. Лавров – страстный любитель литературы и театра, он

познакомился с М.И. Писаревым и сделался своим в кружке артистов. Там он встретился с С.А. Юрьевым и стал издателем «Русской мысли».

Отцовское хлебное дело ликвидировал и весь отдался издательству журнала.

Дорогая затея была тогда издавать ежемесячный журнал, конкурирующий с петербургскими известными изданиями: «Отечественными записками» и «Вестником Европы».

В.М. Лаврову удалось тогда объединить вокруг нового журнала лучшие литературные силы. Прекрасно обставленная редакция, роскошная квартира издателя, где задавались обеды и ужины для сотрудников журнала, быстро привлекли внимание. В первые годы издания журнала за обедом у В.М. Лаврова С.А. Юрьев сообщил, что известный художник В.В. Пукирев, картина которого «Неравный брак» только что на шумела, лежит болен и без всяких средств.

В.М. Лавров вынул пачку денег, но С.А. Юрьев, зная, что В.В. Пукирев не возьмет ни от кого денежной помощи, предложил устроить в пользу художника музыкально-литературный вечер в одном из частных залов. Присутствовавшие отозвались на этот призыв, и тут же составила интереснейшая программа с участием лучших литературных и артистических сил.

Редактором «Русской мысли» С.А. Юрьев был около шести лет, а потом после его смерти редактором был утвержден В.М. Лавров.

Кроме прекрасной памяти, которую оставил по себе С.А. Юрьев, вспоминается после него ряд анекдотов, характеризующих его удивительную рассеянность.

Он жил на Большой Дмитровке, а летом на даче. В квартире оставалась старушка прислуга. С.А. Юрьев только иногда заезжал домой в дни своего посещения редакции. К прислуге как-то пришла знакомая портниха. Старушка для гостыи ставила самовар. Раздался звонок. Старушка, занятая самоваром, попросила отпереть дверь и сказать, что дома никого нет. Сергей Андреевич прямо с дачи заехал на квартиру, позвонил в звонок, над которым красовалась медная пластинка с надписью: «С.А. Юрьев». Ему отперла эта портниха, незнакомая женщина, и заявила, не снимая с двери цепочки, что никого нет дома.

– Ах, какая жалость! Ну вот, скажите, что я был! – С.А. Юрьев передал ей свою визитную карточку и уехал в редакцию.

Узналось все это после. А потом как-то мы ужинали у В.М. Лаврова. Сергей Андреевич уезжал раньше других; мы вышли его

проводить в прихожую, подали ему шубу, его бобровая шапка лежала на столе, а рядом с шапкой спал котенок.

Сергей Андреевич, продолжая прощальный разговор, гладил свою шапку, потом схватил котенка, приняв его по близорукости и рассеянности за шапку, и хотел его надеть на голову, но котенок в испуге запищал и оцарапал ему руку.

После С.А. Юрьева фактическим редактором «Русской мысли» стал В.А. Гольцев, но утвердить его редактором власти наотрез отказались, считая его самым ярким революционером.

Журнал шел прекрасно, имел огромный успех у читателей, но так дорого стоил, что В.М. Лавров, человек совсем не коммерческий, приплачивал очень большие деньги, что вместе с широким хлебосольством кончилось тем, что заставило его посократиться.

Живя в Москве широкой жизнью, вращаясь в артистическом и литературном мире, задавая для своих друзей обеды, лет через десять В.М. Лавров понял, что московская жизнь ему не под силу. В 1893 году он купил в восьми верстах от городка Старая Руза, возле шоссе, клочок леса между двумя оврагами, десятинадцать, пустошь Малеевку, выстроил в этом глухом месте дом, разбил сад и навсегда выехал из Москвы, посещая ее только по редакционным делам в известные дни, не больше раза в неделю.

От своего владения он отрезал два участка для постройки дач своим сотрудникам В.А. Гольцеву и М.Н. Ремезову. Оба выстроились.

Вскоре М.Н. Ремезов продал свою дачку мне, где я и стал жить со своей семьей летом.

По другую сторону шоссе верстах в двух купили участки земли и построили дачи профессора А.А. Мануйлов и Н.А. Мензбир.

«Писательский уголок» – звали это место в Москве.

«Поднадзорный поселок» – окрестила его полиция, которой прибавилось дела – следить за новыми поселенцами, куда то и дело приезжали гости, очень интересные охранному отделению.

В.М. Лавров назвал свой хуторок «Малеевкой», а я свою дачку «Гиляевкой». Впоследствии, когда рядом на шоссе у моста через Москву-реку открылось почтовое отделение, его называли «Гиляевка».

В другой половине дома, рядом с почтовым отделением, была открыта на собранные пожертвования народная библиотека, названная именем В.А. Гольцева. Эта вывеска красовалась не более недели: явилась полиция, и слова «имени Гольцева» и «народная» были уничтожены, а оставлено только одно – «библиотека». Так грозно было в те времена имя Гольцева и слово

«народ» для властей.

Я жил в Гиляевке только летом, да и то часто уезжал по редакционным делам. Во время моих приездов мы нередко вместе обедали и ужинали то у В.М. Лаврова, то у В.А. Гольцева, то у меня.

Часто приезжали гости: бывал А.П. Чехов, когда он сделался сотрудником «Русской мысли», как-то гостил у меня В.М. Дорошевич, очаровавший В.М. Лаврова и В.А. Гольцева, которые до того относились к нему, как к сотруднику мелкой прессы, свысока.

Было время, когда точно так же и «Русская мысль» и «Русские ведомости» относились и к Антону Чехову, а потом к нему на поклон пришли.

Когда приезжали летом гости, обеды бывали у В.М. Лаврова очень веселые, хотя далеко не такие, которые он задавал в Москве.

Здесь не было в помине дорогих вин, как тогда; зато были прекрасные домашние наливки и запеканки; единственное вино, которое подавалось на этих обедах, было превосходное кахетинское.

В.М. Лавров выписывал его от какого-то друга-грузина с Кавказа бочонками в 40 ведер и разливал сам по бутылкам.

У него были три собаки – Бутылка, Стакан и Рюмка – и гусь.

Когда я в первый раз приехал к нему на дачу, мы завтракали – гостей не было никого. За кофе он встал, взял кусок хлеба и вышел на крыльцо. Через минуту, слышу, он кричит:

– Владимир Алексеевич! Владимир Алексеевич!

Я выскочил на крыльцо:

– Вы меня, Вукол Михайлович?

– Нет, не вас. Вон, видите, тоже Владимир Алексеевич.

Переваливаясь с ноги на ногу, к нему шествовал огромный белый гусь, отвечая на его голос каким-то особенно густым-густым басом.

В.М. Лавров начал кормить его хлебом. Выяснилось, что это его любимец, названный в честь известного адвоката Владимира Алексеевича Федотова, подарившего ему этого гуся. Всякую птицу, всякого зверя, имевших у него свою кличку и на нее отзывавшихся, любил В.М. Лавров.

По зимам я иногда приезжал к нему на день, на два и, так как моя дача была холодная, останавливался в его доме.

Зимний день у него всегда проходил так: в одиннадцать встанет, попьет кофе, выходит погулять. Первым делом идет через занесенный снежными сугробами сад по узкой тропинке к

большой террасе, на которую летом выход из столовой, где стоял огромный летний обеденный стол.

В.М. Лавров насыпал горстями на стол овса, конопли, проса и возвращался в столовую.

Сядет, любитесь в окно: а стол, «птичья зимняя столовая», как он его называл, весь живой, мельтешится пестрым ковром.

Мелкие птицы всех зимующих пород, от синички до красногрудого снегиря и сотни воробьев, чирикают, дерутся, долбят носиками.

После завтрака та же картина, но в миниатюре и с другой стороны: в гостиной открывается форточка и выставляется на особое приспособление полная зерен кормушка. Слетаются пернатые, а В.М. Лавров радуется и о каждой птичке что-нибудь расскажет:

– Ах, забияка! Вот я тебя! – и стучит в стекло пальцем на воробья, который синичку клюнул... Затем идет в кабинет и работает. Перед обедом выходит в лес гулять, и за ним три его любимые собаки: Бутылка, Стакан и огромная мохнатая Рюмка, которые были приучены так, что ни на одну птицу не бросались; а после обеда спит до девяти часов.

В десять ужин, а после ужина уходит в кабинет и до четырех часов стучит на своем «ремингтоне». Летом тот же режим – только больше на воздухе. Любитель цветов, В.М. Лавров копается в саду, потом ходит за грибами, а по ночам делает переводы на русский язык польских писателей или просматривает материалы для очередного номера журнала, которые ему привозили из редакции.

Переводы В.М. Лаврова сочинений Сенкевича и Ожешко считались лучшими, печатались во многих номерах «Русской мысли» за все долгие годы ее издания.

Раз в месяц, ко дню выхода книжки, В.М. Лавров уезжал в Москву, где обычно бывали обеды «Русской мысли», продолжение тех дружеских обедов, которые он задавал сотрудникам в московский период своей жизни у себя на квартире. Впоследствии эти обеды перенесли в «Эрмитаж» и были более официальны и замкнуты.

У В.М. Лаврова в библиотеке в Малеевке было много книг и хранился очень им сберегаемый альбом, в котором имелись автографы многих писателей-друзей. Альбом этот В.М. Лавров редко кому показывал и только изредка прочитывал приезжавшим к нему отдельные записи.

Несколько стихотворений у меня сохранилось; вот стихотворение Аполлона Майкова:

Вы – ответственный редактор
«Русской мысли» – важный пост!
В жизни – мысль великий фактор,
В ней народов мощь и рост.
Но она – что конь упрямый:
Нужен верный ездовой,
Чтоб он ровно шел и прямо,
Не мечая, как шальной.
Русский дух им должен править:
Есть у вас он, то легко
Вам журнал свой и прославить,
И поставить высоко.

Переводчик Петр Вейнберг оставил такой автограф:

НАШИМ ВРАГАМ

Оставьте нас! В шипящей злости
Вы нам и жалки и смешны.
Оставьте, вы не в пору гости
На светлом празднике весны.
Напрасно бьете вы тревогу.
Стараясь ужас пробудить, —
Для нас открытую дорогу
Не вам, не вам загородить!
Оставьте нас! Когда весною,
В сиянье первой красоты,
Откроет с силой молодую
Могучий дуб свои листья, —
Тогда ничто его свободы
И свежих сил не сокрушит —
Под грозным вихрем непогоды
Неколебимо он стоит.
Удары смело переносит,
Растет и крепнет по часам
И гордо голову возносит
К своим заветным небесам.

С.В. Максимов писал в альбом:

«Припоминается мне такой случай: И.С. Тургенев любил разбираться в почерках, отгадывая по их разнообразию не столько состояние в данный момент духа писавшего, сколько вообще личный характер и душевные свойства его. В тот день он получил

из-за границы какую-то немецкую книгу с приложением автографов Гете и Шиллера.

Сравнивая почерки обоих, Иван Сергеевич обратил внимание на их резкую разницу: один писал разгонисто, видимо, не только не жалел бумаги, но даже как будто бы формат стеснял его, задерживая быстроту нарождавшейся мысли, когда и перо едва поспевало за их полетом:

«Ему в державу тесны миры!»

Другой усердно нанизывал буквы, как бисер, сближал строки и даже заполнял текстом не только поля, но и пробелы междустрочий.

«И веревочку подай!» – шутливо замечал наш поэт и серьезно доказывал, что в последнем он явно видит бережливость немца в противоположность первому (очевидно, и по почерку), сбросившему с себя путы национального характера, как всемирный гений.

Случайная мысль на тот раз дала нашему великому учителю литературного языка провести художественную, мастерскую параллель вроде той, о которой далеко раньше шутливо намекал он в «Хоре и Калиныче» и которую критически разработал впоследствии в «Гамлете» и «Дон-Кихоте».

Имелось в альбоме стихотворение Я.П. Полонского.

Отчего это, братцы, и голос есть,
Да негромко поет, обрывается?
Отчего это, братцы, и песня есть,
Да наводит тоску, словно мается?
Где та сила, та грудь богатырская,
Что певала под гусли звончатые
На пирах, в теремах, перед боем в шатрах?
Народится ли вновь на святой Руси
Та живая душа, тот великий дух,
Чтоб от моря до моря, по всем степям,
Вдоль широкой реки, в глубине лесной
По проселкам, по селам, по всем городам
Пронеслась эта песня, как божий гром,
И чтоб вся-то Русь православная,
Откликаючись, встрепенулася!

Д.Н. Мамин-Сибиряк написал В.М. Лаврову свои впечатления: «Тридцать лет тому назад я принес в редакцию „Русской мысли“ свою первую статью, которая и была напечатана в 1882 году („Старатели“).

Это была, кажется, вообще первая статья, напечатанная мною

в толстом журнале. Затем я сотрудничаю в «Русской мысли» четырнадцатый год и могу засвидетельствовать замечательный факт, именно, что Вукол Михайлович Лавров всегда одинаков – когда журнал был в тяжелых обстоятельствах и когда достиг успеха, когда к нему является начинающий автор и когда автор с именем».

Написал в альбом стихотворение и И.А. Бунин:

На высоте, на снеговой вершине,
Я вырезал стальным клинком сонет.
Проходят дни. Быть может, и донине
Снега хранят мой одинокий след.
На высоте, где небеса так сини,
Где радостно сияет зимний свет,
Глядело только солнце, как стилет
Чертил мой стих на изумрудной льдине.
И весело мне думать, что поэт
Меня поймет. Пусть никогда в долине
Его толпы не радуется привет!
На высоте, где небеса так сини,
Я вырезал в полдневный час сонет
Лишь для того, кто на вершине...

А.П. Чехов часто бывал у профессора политической экономии И.И. Иванюкова, которого близко знал В.М. Лавров.

После одного из таких посещений Антон Павлович написал в альбом В.М. Лаврову:

«Я ночевал у И.И. Иванюкова, в квартире В.М. Соболевского, и проспал до 12 часов дня, что подписом удостоверяю. Антон Чехов».

«Любовь – высший дар, высшее чувство человека! – пишет Д.В. Григорович. – Обращено это чувство к отечеству, к общественной пользе, к отдельной личности – оно далеко оставляет за собой все, что обыкновенно служит двигателем в нашей жизни. Все наши цели и мудрствования, и так называемые дела, тщеславные стремления, карьера и т.д. – все это, если взять в расчет не вечность, но только нашу коротенькую жизнь, – все это не стоит, в сущности, того, чтобы колотиться, биться, огорчаться или радоваться, как это делаем мы! На свете есть одно настоящее чувство, которым стоит серьезно заниматься, – это любовь. Для любви, для нее одной, стоит рождаться на свет, и прискорбно умирать потому только, что приходится расстаться с нею и нет больше надежды испытать ее снова».

Интересной подробностью альбома было еще и то, что в нем

имелись стихотворения людей, не писавших обычно стихами.

Среди таких стихотворений имелись – артиста А.И. Сумбатова-Южина:

Солнце жаркими лучами
Грудь Кавказа целовало,
И под страстными огнями
Все цвело и ликовало.
Лишь старик Казбек угрюмый
Этой ласке не поддался
И один с своею думой
Под снегами оставался.
Из-за ласки лицемерной
Не хотел менять одежды
И сменить свой холод верный
На весенние надежды.

В.А. Гольцев написал:

Нас мгла и тревоги встречали,
Порой заграждая нам путь.
Хотелось нередко в печали
Свободною грудью вздохнуть,
Но дни проходили чредою,
Все мрак и все злоба вокруг —
Не падали духом с тобою
Мы, горем исполненный друг!
И крепла лишь мысль и стремилась
К рассвету, к свободе вперед —
Туда, где любовь сохранилась,
Где солнце надежды взойдет!

М.Н. Ремезов:

И много лет мы вместе жили,
В одной ладье мы вместе плыли,
Делили радость и печаль,
Ты на руле сидел и правил,
Ладью упорно гнали вдаль.
А Гольцев смело парус ставил,
Когда ж чрез борт катился вал,
Я только воду отливал...

Последние строчки особенно понятны, – постоянный сотрудник и редактор «Русской мысли» М.Н. Ремезов занимал, кроме того, важный пост иностранного цензора, был в больших чинах и пользовался влиянием в управлении по делам печати, и часто, когда уж очень высоко ставил парус В.А. Гольцев, бурный вал со стороны цензуры налетал на ладью «Русской мысли», и М.Н. Ремезов умело «отливал воду», и ладья благополучно миновала бури цензуры и продолжала плыть дальше, несмотря на то, что, по словам М.Н. Ремезова,

В ладье везем мы груз запретный
Гуманных нравственных идей
И «Русской мысли» клич заветный
К любви и равенству людей.

Увлеченный кипучей газетной обязательной работой, я, несмотря на долговременную дружбу с В.А. Гольцевым и В.М. Лавровым, поместил в «Русской мысли» только несколько стихотворений, да и то по просьбе редакции, «Гоголевщину», в которой описал мою поездку в Полтавщину в 1900 году перед Гоголевскими празднествами.

После моего доклада в Обществе любителей российской словесности, который впоследствии был напечатан отдельной книгой «На родине Гоголя», В.А. Гольцев обратился ко мне с просьбой напечатать его в «Русской мысли». Перепечатка из «Русской мысли» обошла все газеты.

«Русское слово» было разрешено без предварительной цензуры, но с программой, указанной К.П. Победоносцевым, выхлопотавшим это издание для А.А. Александрова.

«Самодержавие, православие и народность» – было девизом газеты.

Газетка была и на вид, и по содержанию весьма убогая, ни подписки, ни розницы не было – и издатель разорился.

В конце концов ее купил умный и предприимчивый И.Д. Сытин с целью иметь собственную газету для рекламы бесчисленных книг своего обширного издательства.

И.Д. Сытину некогда было заниматься газетой, и она также продолжала влачить довольно жалкое существование; он мало заботился о ней и не раз предлагал ее купить кому-нибудь, но желающих не находилось.

Редакция помещалась в книжном издательстве И.Д. Сытина на Старой площади. Направо с площадки лестницы был вход в издательство, а налево в редакцию. Крошечная прихожая, заставленная по обеим сторонам почти до потолка связками газет – того и гляди упадут и задавят. Дальше три комнатки для сотрудников, в одной из которых две кассы наборщиков – повернуться негде, – а еще дальше кабинет Гермониуса, заведовавшего редакцией и фактического редактора. Гермониусов было два, оба литераторы. К одному из них обратился поэт Минаев с вопросом: «Скажи-ка мне, по таксе ль взимает брат твой Аксель?»

Который из братьев Гермониусов был в «Русском слове» редактором, не знаю, но номинальным числился Киселев.

В прихожей можно было наблюдать такие сценки: входит в плюшевой ротонде сверкавшая тогда в Москве опереточная дива Панская и не может пролезть между столиком и кипами газет, чтобы добраться до комнаты Гермониуса, а за столиком сидит Дементий, одновременно и сторож, и курьер, и швейцар, и чистит огромную сеledку.

Увидав Панскую и желая заработать «на чай», Дементий пытается снять ротонду сеledочными руками, но случайно вошедший один из главных сотрудников К.М. Даниленко, еще совсем юный, выручает и проводит Панскую в кабинет редактора.

Из помещения на Старой площади редакция «Русского слова» вскоре, переменяв несколько квартир, переехала на Петровку, в дом доктора Левинсона, в нижний этаж, где была когда-то редакция арендуемых у императорских театров театральных

афиш, содержащая А.А. Левинсоном, сыном домовладельца.

По одну сторону редакции была пивная Трехгорного завода, а с другой – винный погреб Птицына. Наверху этого старого, сломанного в первые годы революции, двухэтажного дома помещались довольно сомнительные номера «Надежда», не то для проходящих, не то для приезжающих.

Сюда приехал приглашенный И.Д. Сытиным редактировать «Русское слово» В.М. Дорошевич, после закрытия «России» за амфитеатровский фельетон «Обмановы», и привез с собой своего товарища по Одессе Розенштейна.

Затем редакция переехала в дом Обидиной, тут же на Петровке, в надворный флигель, а оттуда уже в дом М.В. Живаго, теперь уже снесенный, на проезде Страстного бульвара.

Это был исторический дом старого барства: столовая красного дерева, стоявшая тысяч сорок, колонны, фрески, и все это было замазано, загрязнено, на вбитые в красное дерево стен гвозди вешались вырезки из газет и платье. Снаружи дом был одноэтажный, а надворная часть с антресолями и пристройками в три этажа.

В это время И.Д. Сытин присмотрел и купил соседний дом у вдовы Н.А. Лукутина, Любви Герасимовны, дочери известного миллионера Герасима Хлудова.

Редакция поместилась в бывшем магазине Лукутина, где продавались его знаменитые изделия из папье-маше. Одновременно И.Д. Сытин выстроил в приобретенном у Н.А. Лукутина владении четырехэтажный корпус на дворе, где разместилась редакция и типография и где стало печататься «Русское слово» на новых ротационных машинах. Рядом И.Д. Сытин выстроил другой корпус, для редакции, с подъемными машинами для своих изданий.

С приездом В.М. Дорошевича, воспользовавшегося дополнительно разрешенной Победоносцевым «Русскому слову» широкой программой, газета не только ожила, но и засверкала.

И.Д. Сытин не вмешивался в распоряжки редакции. Редактором был утвержден его зять, Ф.И. Благов, доктор по профессии, не занимавшийся практикой, человек весьма милый и скромный, не мешавший В.М. Дорошевичу делать все, что он хочет. В.М. Дорошевич, с титулом «короля фельетонистов» и прекрасный редактор, развернулся вовсю. Увеличил до небывалых размеров гонорары сотрудникам, ввел строжайшую дисциплину в редакции и положительно неслыханные в Москве порядки, должно быть, по примеру парижских и лондонских изданий, которые он осматривал во время своих частых поездок за границу.

Дом для редакции был выстроен на манер большой парижской газеты: всюду коридорная система, у каждого из крупных сотрудников – свой кабинет, в вестибюле и приемной торчат мальчуганы для посылок и служащие для докладов; ни к одному сотруднику без доклада постороннему войти нельзя.

В этом же доме разместил И.Д. Сытин и другие свои издания: третий этаж заняло целиком «Русское слово», а в четвертом поместились «Вокруг света» и «Искры», как приложение к «Русскому слову», сначала издававшееся с текстом, а потом состоящее исключительно из иллюстраций.

Редактором «Искр» был серб Милан Михайлович Бойович, филолог, окончивший Московский университет, еще студентом состоявший моим помощником при московском отделе амфитеатровской «России».

Редактором «Вокруг света» был В.А. Попов, прекрасно поставивший журнал, который при нем достиг огромной по тем временам подписки.

Помещение редакции было отделано шикарно: кабинет И.Д. Сытина, кабинет В.М. Дорошевича, кабинет редактора Ф.И. Благова, кабинет выпускающего М.А. Успенского, кабинет секретаря и две комнаты с вечно стучащими пишущими машинками и непрерывно звонящими телефонами заведовавшего московской хроникой К.М. Даниленка.

У кабинета В.М. Дорошевича стоял постоянно дежурный – и без его доклада никто в кабинет не входил, даже сам И.Д. Сытин.

Когда В.М. Дорошевич появлялся в редакции, то все смолкало. Он шествовал к себе в кабинет, принимал очень по выбору, просматривал каждую статью и, кроме дневных приемов, просиживал за чтением гранок ночи до выхода номера.

В.М. Дорошевич в созданной обстановке редакции портился. Здесь он не был тем милым и веселым собеседником, каким я часто видал его у себя дома или в компании.

Особенно интересен он был за обедом или ужином, полный блестящего остроумия в рассказах о своих путешествиях. Это был человек, любивший вкусно поесть и выпить хорошего вина. Пил не особенно много, смаковал и съедал огромное количество всякой снеди. Он иногда обедал у меня, всегда предупреждая:

– Попроси Марию Ивановну, чтоб она меня борщом с ватрушками угостила!

В назначенный день, одетый обязательно в смокинг, являлся к обеду и после первой тарелки жирного борща просил вторую, а то и третью тарелку, уничтожая при этом гору ватрушек.

Подают индейку. Жена спрашивает:

– Влас Михайлович, вам темного или белого мяса?

– И того и другого, и по полной тарелке!..

Любил поесть! А ночью, после обеда, в редакции просит меня:

– Позвони Марии Ивановне, не осталось ли там ватрушек? Я бы сам попросил, да стыдно!

Я, кажется, был одним из немногих, который входил к нему без доклада даже в то время, когда он пишет свой фельетон с короткими строчками и бесчисленными точками. Видя, что В.М. Дорошевич занят, я молча ложился на диван или читал газеты. Напишет он страницу, прочтет мне, позвонит и посылает в набор. У нас была безоблачная дружба, но раз он на меня жестоко обозлился, хотя ненадолго.

Гордый и самолюбивый всевластный диктатор «Русского слова», он привык благодаря слишком подчеркнутому «уважению» окружающих лиц к своей особе требовать почти молчания в своем присутствии. Его даже боялись.

Сидели мы как-то в кабинете Ф.И. Благова, компанией, и весело разговаривали. Нождаанно входит В.М. Дорошевич – «горд и ясен», во фраке. Только что он раскрыл рот, чтобы сделать какое-то распоряжение, как я его перебил:

– Влас, у тебя есть время?

– Пять минут. Еду в балет, сегодня Гельцер!

– Этого достаточно. Отвернись к стенке и застегни пуговицы, – и указал ему, где застегнуть пуговицы.

Он удостоверился в правоте моих слов и, весь красный от волнения, опустил шапокляк и со словами «извините» быстро вышел.

На другой день он мне обиженно сказал:

– Свинья ты! Мог бы шепнуть на ухо, что ли. В дураках меня оставил! Они этого никогда не забудут! – А глаза злые-злые.

Конечно, нашей дружбы это не испортило. Из своих путешествий он мне присылал отовсюду открытки. Одну недавно нашел в бумагах. Это открытка из Испании, из города Хереса. Три строчки:

«Гиляй! Я думал, что это бывает только с мухами; вообрази, попал в Херес!»

В.М. Дорошевич знал, что я работаю в «Русском слове» только по его просьбе. Уезжая за границу, он всегда просил меня писать и работать больше, хотя и при нем я работал немало.

Помню, в день, когда тираж «Русского слова» перевалил за сто тысяч – в первый раз в Москве, даже и в России, кажется, – меня угощала редакция обедом за мой фельетон «Ураган». Это было 19 июня 1904 года, на другой день после пронесшегося над Москвой небывалого до сего урагана, натворившего бед.

Незабвенный и памятный день для москвичей, переживших его!

Мне посчастливилось быть в центре урагана. Я видел его начало и конец: пожелтело небо, налетели бронзовые тучи, мелкий дождь сменился крупным градом, тучи стали черными, они задевали колокольни.

Наступивший мрак сменился сразу зловеще желтым цветом. Грянула буря, и стало холодно. Над Сокольниками спустилась черная туча – она росла снизу, а сверху над ней опускалась такая же другая. Вдруг все закрутилось. Внутри этой крутящейся черной массы засверкали молнии. Совсем картина разрушения Помпеи по Плинию! Вдобавок среди зигзагов молний вспыхивали желтые огни, и багрово-желтый огненный столб крутился посередине. Через минуту этот ужас оглушающе промчался, руша все на своем пути. Неслись крыши, доски, звонили колокола; срывало кресты и купола, вырывало с корнем деревья; огромная Анненгофская роща была сбрита; столетние деревья или расщеплены, или выворочены с корнем. Было разрушено огромное здание Кадетского корпуса и Фельдшерской школы. По улицам – горы сорванных железных крыш, свернутых в трубочку, как бумага. Кое-где трупы. Много убитых и раненых...

В десятом часу вечера, измученный, оборванный и грязный, я вошел в кабинет В.М. Дорошевича.

– Садись на мое место и пиши. Я тебе пришлю закусить! – сказал В.М. Дорошевич, оглядев меня с ног до головы:

– Должно быть, в смерче крутился! Пиши, я тебе мешать не буду. Посылай гранки!

Мне подали чаю и холодных закусок.

Через два часа я написал впечатление пережитого урагана и позвонил. Вошел В.М. Дорошевич, но я, весь пыльный, уже лежал на его роскошном турецком диване.

– Усни, я запру дверь. Встанешь – позвонишь!

Встал я только через два часа.

В.М. Дорошевич сидел за столом и подал мне оттиск первой полосы. Когда номер был сверстан, В.М. Дорошевич и я поехали осматривать беды урагана в Сокольники, Лефортово и вплоть до самого Карачарова. Уже всходило солнце.

Особенно его поразила Анненгофская роща – этот вековой лес, после урагана представлявший собой горы вырванных с корнем и расщепленных сосен и елей-великанов. Среди обломков ныряли босяки: роща была их летней дачей. Немало их там погибло в урагане.

Проезжая мимо нее, мы вспомнили с В.М. Дорошевичем кое-что о ней.

Интересна судьба этой рощи: она выросла в одну ночь – и погибла в один день, даже в несколько минут.

История ее такова. Когда царица Анна Иоанновна приехала в Москву и остановилась в только что выстроенном дворце, где впоследствии помещался Первый кадетский корпус, то, любуясь видом на широкое поле, сказала:

«Как жаль, что здесь пустое место, а не лес!»

На другое утро, проснувшись, она подошла к тому же окну – и была поражена: поля не было, а зеленела огромная сосновая роща!

Услужливая и всемогущая придворная челядь за ночь тысячами крепостных и солдат перетащила из Сокольников выкорчеванные сосны и ели и посадила рощу!

Роща потом разрослась, ее подсаживали и блюли, но она не сделалась любимым народным гуляньем: москвичи знали, как появилась она, названная в честь царицы «Анненгофская».

Москва по-своему отомстила Анненгофской роще: ее сделали свалкой нечистот, и ветерок с рощи отравлял Лефортово многие годы, а по ночам жителям приходилось закрывать окна.

Всю ночь гроыхали по булыжным мостовым длинные обозы отходников, заменявших тогда канализацию, но и с перенесением из Анненгофской рощи свалки нечистот к Сортировочной станции Московско-Казанской железной дороги все-таки еще в нее сливались нечистоты, и название «Анненгофская роща» было только в указателях Москвы и официальных сообщениях, – в народе ее знали испокон века и до последних дней только под одним названием: «Говенная роща!»

Вспомнили мы это, а кругом был ужас: здания с зияющими окнами, без рам и стекол, с черными прогалами меж оголенных стропил. Церкви без крестов и куполов, разбитые каменные столбы, по улицам целые горы свернутого и смятого железа, груды обломков зданий, убитые лошади, иногда люди. Далее – обломки векового госпитального Лефортовского парка. Мост через Язу сорван. Валялась полицейская будка, вместе с городовым перенесенная через целый квартал. На переезде Московско-Казанской железной дороги была сорвана крыша с элеватора, штопором свернут гигантский железный столб семафора, и верхний конец его воткнулся в землю.

Ураган ринулся к Ярославлю, оставляя следы разрушения более чем на сотни верст; было много убитых и раненых. Ночью в районе урагана, среди обломков в Лефортове и в роще горели костры, у которых грелись рабочие и жители, оставшиеся без крова.

Запомнилась картина: у развалин домика – костер, под

рогожей лежит тело рабочего с пробитой головой, а кругом сидят четверо детей не старше восьми лет и рядом плачущая беременная мать. Голодные, полуголые – в чем вышли, в том и остались.

Такого урагана не помнили в Москве старожилы.

Мы вернулись в Москву, и у заставы уже носились газетчики. «Русское слово» шло нарасхват.

– Ураган! Подробности об урагане! – кричали газетчики.

Во время японской войны я написал ряд фельетонов под заглавием «Нитки», в которых раскрыл все интендантское взяточничество по поставке одежды на войска. Эти фельетоны создали мне крупных врагов – я не стеснялся в фамилиях, хотя мне угрожали судом, – но зато дали успех газете.

Редакция боялась печатать мои «Нитки», мне предлагали вычеркивать фамилии, но В.М. Дорошевич выругал:

– Печатать целиком! Никогда Владимир Алексеевич не дал ни одного неверного сведения, и никогда ни на одну его статью опровержения еще не было... и не будет!

Во время войны с Японией огромный успех в газете имели корреспонденции Вас. И. Немировича-Данченко с театра военных действий и статьи Краевского из Японии, куда он пробрался во время войны и вернулся обратно в Москву.

Многие тогда сомневались в правдивости его сообщений.

Я же верил ему – уж очень юркий и смелый человек, тип «пройдисвета».

У меня долго хранился складной чемодан, который он мне подарил, вернувшись из Японии. Он был весь обклеен багажными марками: Йокогама, Сан-Франциско и т.д.

«Русское слово» гремело – и с каждым днем левело, как левела вся Россия.

Наконец хлынула всеобщая забастовка, а затем 17 октября с манифестом о «свободах».

В первом, вышедшем после 17 октября 1905 года в «свободной России», номере «Русского слова» передовая статья, приветствовавшая свободу слова, заканчивалась так:

– Отныне довольно говорить рабым языком!

Прошел год, обещанные свободы разлетелись прахом.

С наступлением реакции «Русское слово» опять заговорило «рабым языком», а успех газеты все-таки с каждым днем рос и рос.

Атаман Буря и Пиковая дама

В 1885 году, 1 января, выползли на свет две газетки, проползли сколько могли и погибли тоже почти одновременно, незаметно, никому не нужные. Я помню, что эти газетки были – и только, мне было не до них. Я с головой ушел в горячую работу в «Русских ведомостях», мешать эти газетки мне не могли, настолько они были пусты и безжизненны.

Через полстолетия припомнились они не за их достоинства, а за что-то другое, видимо, более яркое и характерное, чем в других, более популярных газетах того времени.

Газеты эти – «Голос Москвы» Васильева и «Жизнь» Д.М. Погодина. Н.В. Васильев – передовик «Московских ведомостей» – был редактором «Голоса Москвы», а издателем был И.И. Зарубин, более известный по Москве под кличкой «Хромой доктор».

Иван Иванович Зарубин был и хромой и доктор, никогда никого не лечивший, погруженный весь в разные издательства, на которых он вечно прогорал и, задолжав, обыкновенно исчезал из города. Исчез он из Петербурга, где издавал после «Голоса Москвы» журнал «Здоровье», скончавшийся, как и все издания этого доктора, от карманной чахотки. Когда явился в редакцию «Здоровья» судебный пристав описывать за долги имущество И.И. Зарубина, то нашел его одного в единственной комнате с единственным столом, заваленным вырезками из газет, и с постелью, постланной на кипах журнала, а кругом вдоль стен вместо мебели лежали такие же кипы. И.И. Зарубин с ножницами в руках любезно встретил судебного пристава и, указывая ему на одну из кип, предложил:

– Садитесь на «Здоровье»!

Газета «Голос Москвы», издававшаяся года за два до «Здоровья», памятна для меня тем, что в ней Влас Михайлович Дорошевич прямо с гимназической скамьи начал свою литературную карьеру репортером. Его ввел в печать секретарь редакции «Голоса Москвы» Андрей Павлович Лансберг.

Много-много лет спустя В.М. Дорошевич в дружеской беседе рассказал о первой нашей встрече.

В поисках сенсаций для «Голоса Москвы» В.М. Дорошевич узнал, что в сарае при железнодорожной будке, близ Петровско-Разумовского, зарезали сторожа и сторожиху. Полный надежд дать новинку, он пешком бросился на место происшествия. Отмахав верст десять по июльской жаре, он застал еще трупы на месте. Сделав описание обстановки, собрав сведения, он попросил разрешения войти в будку, где судебный следователь

производил допрос.

– Я обратился к уряднику, – рассказывал он мне через десять лет, – караулившему вход, с просьбой доложить следователю обо мне, как вдруг отворилась дверь будки, из нее быстро вышел кто-то – лица я не рассмотрел – в белой блузе и высоких сапогах, прямо с крыльца прыгнул в пролетку, крикнул извозчику – лихач помчался, пыля по дороге.

Меня, – продолжал рассказ В.М. Дорошевич, – принял судебный следователь Баренцевич, которому я отрекомендовался репортером: «Опоздали, батенька! Гиляровский из „Русских ведомостей“ уже был и все знает. Только сейчас вышел... Вон едет по дороге!» Я был оскорблен в лучших своих чувствах, и как я тебя в тот миг ненавидел!

Печатался «Голос Москвы» в надворном флигеле дома Горчакова на Страстном бульваре в типографии В.Н. Бестужева, который был кругом в долгах, а ему, в свою очередь, был должен только один человек на свете: И.И. Зарубин!

Скоро сотрудникам перестали аккуратно платить, и редактор Н.В. Васильев ушел. Под газетой появилась подпись «Редактор-издатель И.И. Зарубин», но к декабрю фактически он уже владельцем газеты не был – она перешла к В.Н. Бестужеву, который и объявил о подписке на 1886 год.

Подписка была плохая. Забрав деньги злополучных подписчиков, В.Н. Бестужев прекратил газету, а И.И. Зарубин исчез из Москвы...

В типографии В.Н. Бестужева печаталась еще ежедневная газета «Жизнь», издательницей которой была Е.Н. Погодина, а редактором Д.М. Погодин, сын известного ученого М.П. Погодина, владелец типографии в доме Котельниковой на Софийской набережной.

В этой типографии Д.М. Погодина в 1881 году начал печататься «Московский листок», но через год перешел в свою типографию. Успех «Московского листка» вскружил голову супругам Погодиным, и они начали издавать сперва «Московскую газету», которую дотянули до 1884 года. Потратив все наличные деньги из своего наследства, они прекратили издание, а с 1 января 1885 года выпустили за теми же подписями «Жизнь», печатая ее в своей типографии. Газета не шла ни в розницу, ни по подписке. После Пасхи типографию у них отняли за долги, и газета стала печататься в типографии И.И. Смирнова, на Маросейке, в доме Хвоцинской. Платить было нечем, и газету надо было прекращать, но тут явился на помощь известный адвокат Ф.Н. Плевако, который дал денег и напечатал в ней несколько статей, отказавшись от дальнейшего участия.

Года за два перед этим в Москве появился некто В.Н. Бестужев, дворянин одной из черноземных губерний, выдававший себя за богатого человека, что ему и удавалось благодаря его импозантной наружности.

Здоровенный, красивый малый, украшенный орденами, полученными во время турецкой кампании, он со всеми перезнакомился, вел широкую жизнь, кутил и скандалил, что в особый грех тогда не ставилось, и приобрел большую типографию в доме П.И. Шаблыкина, на углу Большой Дмитровки и Газетного переулка.

П.И. Шаблыкин, состоявший тогда чиновником особых поручений при генерал-губернаторе, покровительствовал своему арендатору типографии, открытой им, кажется, на имя жены, которая не касалась дела, а распоряжался всем сам В.Н. Бестужев.

В типографии его печатались тогда «Современные известия» и еще несколько изданий.

Сам он тоже выпускал какой-то «Листок объявлений», выходивший раза 3—4 в год. Желание иметь свою газету в нем кипело. Пробовал просить разрешение на издание, но столь прославленному скандалисту получить его не удавалось. Узнав, что дела Погодиных плохи, В.Н. Бестужев вошел в газету с тем, что имена издателя и редактора остаются, а фактически газета будет принадлежать ему.

Редакция «Жизни» помещалась в третьем этаже надворного флигеля дома Шаблыкина, на Большой Дмитровке, против конторы Большого театра, где впоследствии был Театральный музей С.И. Зимина.

Заведовал редакцией секретарь Нотгафт, мужчина чрезвычайно презентабельный, англазированной вида, с рыжими холеными баками, всегда изящно одетый, в противовес всем сотрудникам, журналистам последнего сорта, которых В.Н. Бестужев в редакции поил водкой, кормил колбасой, ругательски ругал, не имея возражений, потому что все знали его огромную физическую силу и привычку к мордобою.

Издательница и редактор не бывали в редакции: чего доброго, еще избыют! Газета печаталась и не шла. Объявлений никаких не было. Были только два бесплатных: первое – «Продается библиотека покойного М.П. Погодина в 10 000 томов. Есть книги на сарматском, датском, шведском и финском языках. Обширный Славянский Отдел. Каталог – целый том, стоит 400 рублей», и второе: «Портретная галерея русских писателей (120 масляной краской), оставшаяся после покойного М.П. Погодина, продается, Софийская набережная, д. Котельниковой».

В один из обычных мало веселых редакционных дней бегал по редакции, красный от волнения и вина, В.Н. Бестужев и наконец, выгнав всех сотрудников, остался вдвоем с Нотгафтом. Результатом беседы было то, что в газете появился, на первой и второй страницах, большой фельетон: «Пиковая дама». Повесть. «Пиковая дама означает тайную недоброжелательность». «Новейшая гадательная книга...»

Все было в фельетоне, как у А.С. Пушкина.

В конце фельетона была подпись: «Ногтев. Продолжение следует».

Эффект был поразительный! По Москве заговорили, что «Пиковая дама» А.С. Пушкина печатается в газете «Жизнь»!

Всю розничную торговлю в Москве того времени держал в своих руках крупный оптовик Петр Иванович Ласточкин, имевший газетную торговлю у Сретенских ворот и на Моховой. Как и почему, – никто того тогда не знал, – П.И. Ласточкин, еще в 4 часа утра, в типографии взял несколько тысяч номеров «Жизни» вместо двухсот экземпляров, которые брал обычно. И не прогадал.

Мало того, чуть ли не целый день в типографии печатался этот номер, и его раскупали газетчики.

Московские газеты напустились на эту выходку «Жизни»; одни обвиняли редакцию в безграмотности, другие в халатности, бранили злополучную чету Погодиных.

Эту дикую выходку В.Н. Бестужева своим практическим умом разгадал один Н.И. Пастухов.

Когда ему за утреним чаем А.М. Пазухин, вошедший с рукописью в руках и газетой «Жизнь», подал записку о безграмотной редакции, Н.И. Пастухов, уже заранее прочитавший газету, показал ему кукиш и сказал:

– А этого он не хочет?

– Я не понимаю, Николай Иванович! Кто?

– Бестужев твой! Ведь это он для рекламы такую штуку отчубучил! Вот, гляди, завтра все его ругать начнут, а ему только это и надо!

Н.И. Пастухов правильно угадал смысл выходки В.Н. Бестужева. Газета с этого дня пошла в ход. Следующий номер также разошелся в большом количестве, но в нем было только помещено следующее письмо:

Письмо в редакцию

«Чтобы снять с почтенной редакции газеты „Жизнь“

всякое нареkanie в каком-либо недосмотре или небрежном отношении к делу, прошу напечатать настоящее мое заявление: заведую в качестве секретаря редакции получаемыми рукописями и формируя к выпуску газету, я во вчерашнем № 125 „Жизни“ допустил напечатать фельетон „Пиковая дама“. Вполне доверяя лицу, мне лично известному, и без сведения редактора приняв вышеозначенный фельетон, я прямо передал его в набор, никак не предполагая, что за ним кроется плагиат, и затем допустил его к напечатанию. Грубая ошибка была обнаружена уже по выходе газеты, и только настоящим письмом считаю возможным разъяснить мистификацию. К. Ногтев».

Фамилия эта в литературных кругах, конечно, была неведомой.

По сведениям из типографии стало известно, что в гранках фельетон был без всякой подписи, потом на редакторских гранках появилась подпись, сделанная В.Н. Бестужевым: «К. Нотгафт», и уже в верстке рукой выпускающего была зачеркнута и поставлено «Ногтев».

Н.И. Пастухов оказался прав. Газету разрекламировали. На другой день вместе с этим письмом начал печататься сенсационный роман А. Ив. Соколовой «Новые птицы – новые песни», за ее известным псевдонимом «Синее домино».

Роман заинтересовал публику, и на некоторое время «Жизнь» удержала розницу. Появились платные крупные объявления. Половину первой страницы заняли объявления театров: «Частный оперный театр» в доме Лианозова, в Газетном переулке; «Новый театр Корша»; «Общедоступный театр Щербинского», носивший название Пушкинского, в доме барона Гинзбурга на Тверской; «Театр русской комической оперы и оперетки» Сетова в доме Бронникова, на Театральной площади. На четвертой странице появились объявления докторов по секретным болезням, «подседнокопытная мазь от всех болезней Иванова», а также стали печататься объявления фирм: правления мануфактур Саввы Морозова, Банкирская контора Выдрина, Брокера, Ралле, Депре.

В мелких газетах часто печатались судебные отчеты о скандалах В.Н. Бестужева, но большие газеты, в частности «Русские ведомости», такими делами не интересовались.

На время В.Н. Бестужев затих, пошли слухи, что он женился на богатой – женился и переменился! Снял большую типографию, занялся издательством, а потом через полгода опять закутил.

Однажды я выходил из театра Корша и услышал, как швейцар

Роман стремительно выбежал на театральное крыльцо и кричит:

– Одиночка Бестужева, Герасим!

За швейцаром в николаевской шинели с бобровым воротником и волчьей папахе козырем вышел атлет с закрученными усами и сверкающими глазами.

Швейцар искал одиночку Бестужева, вернулся и доложил атлету в николаевской шинели:

– Герасима нет! Его в участок пьяного отправили!

– Мер-рзавец! – загремел атлет, взглянул на меня, остановился на полслове, от удивления раскрыл рот, стремительно бросился и обнял меня: – Сологуб! Ты ли это? Откуда? Пойдем к «Яру»!

Сделавшись центром внимания знакомых, выходявших из театра, я спустился с ним на тротуар, а пока он нанимал извозчика к «Яру», исчез в толпе и долго слышал еще его ругань.

Так вот он кто такой, В.Н. Бестужев!

Эта встреча была вскоре после напечатания «Пиковой дамы», история которой еще не заглохла среди москвичей.

В это время дела В.Н. Бестужева, по-видимому, не веселили. Он перевел в свою типографию редакцию «Жизни», в дом Горчакова на Страстном бульваре. Кредиторы и полиция ловили В.Н. Бестужева: первые – за долги, вторые – чтобы отправить на высылку в «Титы» по постановлениям десятка мировых судей, присудивших его к аресту за скандалы и мордобития. Ни сотрудники, ни типография денег не получали. Одна газета закрылась, а другая едва выходила. Лучшие наборщики разошлись – остались пьяницы и «подшибалы» с Хитрова рынка.

Подшибалами были спившиеся с круга наборщики, выгнанные отовсюду и получавшие работу только в некоторых типографиях поденно, раз в неделю, в случае какой-нибудь экстренности.

Днем они, поочередно занимая друг у друга опорки и верхнее рваное платье, выбегали из ворот в Глинищевский переулок и становились в очередь у окна булочной Филиппова, где ежедневно производилась булочной раздача хлеба, по фунту и больше, для нищих бесплатно. Этим подаянием и питались подшибалы, работавшие у В.Н. Бестужева.

Подшибалы – это, так сказать, яркие типы «рабов капитала». В старые времена на подшибалах наживали деньги типографщики. Делились они на ночных и дневных. Ночные получали вдвое и приглашались даже во все газеты, кроме «Русских ведомостей», «Московского листка» и «Русского слова», где штат наборщиков был постоянный, полностью

укомплектованный. Особенно типографщики нуждались в подшибалах перед праздниками, когда листы газет были забиты объявлениями. Многие мелкие типографии даже жили подшибалами, но и крупные иногда не брезговали пользоваться их дешевым трудом. Богатая типография Левенсона, находившаяся до пожара в собственном огромнейшем доме на Петровке, была всегда переполнена подшибалами. Лучшие из них получали 50 копеек в день, причем эти деньги им платились в два раза: 30 копеек в полдень, а вечером остальные 20, чтобы не запили днем. Расходовались эти деньги подшибалами так: 8 копеек сотка водки, 3 – хлеб, 10 – в «пырку», так звались харчевни, где за пятак наливали чашку щей и на 4 копейки или каши с постным маслом, или тушеной картошки; иные ухитрялись еще из этого отрывать на махорку. Вечером меню было более сокращенным, из которого пятак оставлялся на ночлег в доме Ярошенко на Хитровом рынке, где в двух квартирах ютились специально подшибалы. Некоторые из подшибал ухитрялись ночевать в типографиях Левенсона, В.Н. Бестужева и еще кое у кого под реалами.

Подшибал использовали иногда типографщики при забастовках наборщиков, и они работали под защитой полиции.

Отсюда и название: «Подшибалы!»

Эти подшибалы и составляли основную массу работающих в типографии В.Н. Бестужева. Спали под кассами, на полу, спали в кухне, где кипятился куб с горячей водой, если им удавалось украсть дров на дворе. О жалованье и помину не было.

Поздно ночью, тайно, являлся к ним пьяный В.Н. Бестужев, посылал за водкой, хлебом и огурцами, бил их смертным боем – и газета выходила. Подшибалы чувствовали себя как дома в холодной, нетопленной типографии, и так как все были разуты и раздеты – босые и голые, то в осенние дожди уже не показывались на улицу.

Вдруг на номере 223 газета остановилась – это был последний номер издания В.Н. Бестужева.

По требованию домовладельца явилась полиция и стала выгонять силой подшибал и отправлять в больницу: у кого тиф, у кого рожа!

В этот год свирепствовали в Москве заразные болезни, особенно на окраинах и по трущобам. В ночлежках и притонах Хитровки и Аржановки то и дело заболевали то брюшным, то сыпным тифом, скарлатиной и рожей.

За разными известиями мне приходилось мотаться по трущобам, чтобы не пропустить интересного материала. Как ни серьезны, как ни сухи были читатели «Русских ведомостей», но и

они любили всякие сенсации и уголовные происшествия, а редакция ставила мне на вид, если какое-нибудь эффектное происшествие раньше появлялось в газетах мелкой прессы.

На одном из расследований на Хитровке, в доме Ярошенко, в квартире, где жили подшибалы, работавшие у В.Н. Бестужева, я заразился рожей.

Мой друг еще по холостой жизни доктор Андрей Иванович Владимиров лечил меня и даже часто ночевал. Температура доходила до 41°, но я не лежал. Лицо и голову доктор залил мне коллодиумом, обклеил сахарной бумагой и ватой. Было нечто страшное, если посмотретья в зеркало.

В это время зашел ко мне Антон Павлович Чехов, но А.И. Владимиров потребовал, чтобы он немедленно ушел, боясь, что он заразится.

Когда я стал поправляться, заболел у меня ребенок scarlatinой. Лечили его А.П. Чехов и А.И. Владимиров. Только поправился он – заболела сыпным тифом няня. Эти болезни были принесены мной из трущоб и моими хитрованцами.

– Вот до чего ваше репортерство довело! – говорила мне няня.

Во время этих перипетий В.Н. Бестужев исчез из Москвы.

До его исчезновения, кроме театра Корша, я только один раз его встретил за завтраком в ресторане Ливорно.

Забегаю как-то вечером перекусить в этот актерский ресторанчик в Кузнецком переулке. Публики, по летнему времени, никого. За столиком сидят трое: Дорошевич, Риваль-Прохоров, талантливый романист, старый мой друг, и В.Н. Бестужев.

В.М. Дорошевич еще в потрепанных штанах, которые настолько коротки, что не закрывают растянутых резинок, просящих есть штиблет, Риваль в мятой крахмальной рубаше и галстук шарфиком, бант которого раскинулся по засаленному воротнику пиджака с короткими рукавами, а В.Н. Бестужев в шикарной паре.

– Гиляй, милый, садись с нами! Это Бестужев... Это Дорошевич... А это Владимир Алексеевич Гиляровский, которого вы, конечно, знаете.

Они оба встали и пожали мне руку.

В.М. Дорошевич на меня смотрел сумрачно, а В.Н. Бестужев расплылся в улыбку:

– Да мы с Владимиром Алексеевичем давно знакомы! Во-первых, оба, так сказать, герои турецкой войны, а потом по Пензе. Я – пензенский помещик!

О встрече у подъезда театра Корша – ни слова. И начал

рассказывать о широкой жизни в Пензе, о катаниях на тройках, обедах у губернатора – и еще черт знает о чем залихватски врал.

Я не мешал ему – и он, по-видимому, был очень этим доволен.

На самом деле все было гораздо проще: в 1878/79 году я служил под фамилией Сологуба актером в труппе Далматова в Пензенском театре, куда приехал прямо с турецкой войны.

В вечер, о котором идет рассказ, шла оперетка «Птички певчие» с участием лучшей опереточной певицы того времени Ц.А. Раичевой. Губернатора играл Далматов, Пиколло – Печорин, я – полицмейстера. Сбор неполный, но недурной.

Во время первого антракта смотрю со сцены в дырочку занавеса. Публика – умная в провинции публика – почти уже уселась, как вдруг, стуча костылями и гремя шпорами и медалями, движется, возбуждая общее любопытство, коренастый, могучего вида молодой драгунский унтер-офицер, вольноопределяющийся, и садится во втором ряду.

В последнем акте, смотря со сцены, я заметил, что место его было пусто.

Публика разошлась. Мы разгримировались, переодеваемся. Вдруг в уборную В.П. Далматова влетает содержатель буфета Руммель и жалуется, что военный на костылях, весь в орденах, еще в предпоследнем антракте уселся в комнатке при буфете, распорядился подать вина на двадцать рублей, напился и уснул.

– Когда я его стал будить, – рассказывал Руммель, – он начал ругаться, вынул револьвер, грозил всех перестрелять, а когда я сказал, что пошлю за полицией, – он заявил, что на полицию плюет и разговаривать может только с плац-адъютантом. Мы уже посылали за полицией, но квартальный его знает и боится войти: застрелит! – закончил содержатель буфета.

В.П. Далматов смекнул, в чем дело, и ко мне:

– Володя, надень свою черкеску, Георгия, возьми у реквизитора офицерские погоны и аксельбанты адъютантские, подклей усики и нагони-ка на него холоду.

Я надел свою шикарную черкеску с малиновым бешметом, Георгия, общеармейские поручичьи погоны и шашку. Для устрашения подклеил усы, загнул их кольцом, надвинул на затылок папаху и пошел в буфет, откуда далеко доносился шум.

Смотрю в дверную щель. Развалившись на стуле, за столом с посудой сидит огромный юнкерище, стучит по столу и требует шампанского. На соседнем стуле лежат два черных костыля и шинель солдатского сукна.

В коридоре толпились актеры и смотрели в другую дверь. Я быстро подошел к чудищу.

– Встать! – крикнул я так, что юнкер в испуге вскочил, забыв о костылях, и взял под козырек, хотя шапки у него не было.

– Какого полка?

– Московского драгунского...

– Это что у вас за медали? Откуда медаль в память войны двенадцатого года? Севастопольская, за усмирение польского мятежа?! Откуда они?

– Я старший в роде. Отцовские и дедовские медали!

– А почему за последнюю войну шесть штук одинаковых?

– Из разных мест посылали...

– А костыли для чего?

– У меня была сломана нога, г-н поручик!

Он к каждому ответу прибавлял «господин поручик» и отрезвел сразу.

– Ну, вот что, молодой человек! Я сам был молод, сам кутил. Прощаю вас на первый раз. Извольте уходить домой! Следовало бы вас за эти медали и за все поведение на гауптвахту, но я прощаю. Идите!

– Очень благодарен, г-н поручик. Извиняюсь... лишка выпил... – И уж совсем другим тоном к буфетчику: – Эй, ты, сколько с меня?

– Двадцать рублей...

Он вынул из кармана пачку денег, бросил двадцатипятирублевку:

– Сдачи не надо! Г-н поручик, разрешите надеть шинель?

– Одевайтесь и уходите! Живо!

Я повернулся и вышел в коридор. На него надели шинель, и он молча застучал костылями по коридору и ушел, бросив рубль сторожу Григорычу, который запер за ним дверь.

На другой день пристав, театрал и приятель В.П. Далматова, которому тот рассказал о вчерашнем, сказал, что это был драгунский юнкер Владимир Бестужев, который, вернувшись с войны, пропивает свое имение, и что сегодня его губернатор уже выслал из Пензы за целый ряд буйств и безобразий.

Пристав уже раньше знал все происшествие от буфетчика Руммеля, который также рассказал обо всем в гостинице Варецова, где жил юнкер.

Все подробности этого события дошли и до В.Н. Бестужева, который собрался идти и пристрелить актера Сологуба, так его осрамившего, но в это время пришла полиция и, не выпуская на улицу, выпроводила его из Пензы. Таково было наше первое знакомство.

После закрытия газеты В.Н. Бестужев, как я уже сказал,

словно в воду канул.

Прошло много лет. В.М. Дорошевич стал знаменитостью, и наши отношения обратились в теплую и долгую дружбу. Он совершил свою блестящую поездку на Сахалин и, вернувшись в Москву, первым делом приехал ко мне:

– А тебе я с Сахалина поклон привез от приятеля.

– От доктора Лобаса? – я находился с ним в переписке по поводу его кружка на Сахалине «Помощь каторге».

– Что Лобас! От Володи Бестужева! Только о тебе и говорил, вспоминал, как ты ему в Пензе клочку задал.

Оказалось, что В.Н. Бестужев очутился на Сахалине в должности смотрителя каторжной тюрьмы и бил каторжников смертным боем – и при этом уверял всех и был сам глубоко уверен, что он лучший из сахалинских тюремщиков.

Каторга звала его:

– Атаман Буря.

В конце концов он попал под суд за зверства, растраты, пьянство, но не дождался суда: умер от разрыва сердца в камере следователя перед допросом.

«Нижегородское обалдение»

В 80-х годах при «Новом времени» стало выходить каждую субботу иллюстрированное литературное приложение. Кроме того, по субботам же печатались рассказы и в тексте газеты. Участвовали поэты, ученые и беллетристы, в том числе А.П. Чехов, печатавший свои рассказы четыре раза в месяц. Он предложил мне чередоваться с ним.

– Одну субботу ты, другую – я.

И послал мой первый рассказ, который через неделю был напечатан.

С этого я начал мое сотрудничество в «Новом времени», не бросая работы в «Русских ведомостях».

Я был единственным журналистом, одновременно работавшим в «Новом времени» и в «Русских ведомостях». И щепетильные, строгие «Русские ведомости» против этого ничего не имели.

Весной 1896 года «Русские ведомости» обратились ко мне с просьбой дать для них описание коронации. Кроме меня, должны были еще участвовать от них два корреспондента. Подали мы трое – я, Лукин и Митропольский в коронационную комиссию заблаговременно список на три лица, но охранное отделение утвердило только двух, а меня вычеркнуло, и редакция возвратила мне мои две фотографические карточки в полной неприкосновенности, поручив мне только давать для газеты уличные сцены.

Огорченный, я отправился из редакции домой и встречаю на Тверской А.В. Амфитеатрова. Он писал также фельетоны в «Новом времени». Рассказываю ему свое горе.

– Попробуем что-нибудь сделать; здесь проездом Суворин, я сегодня его увижу и попрошу, чтоб он записал тебя мне в помощники по Москве и выхлопотал тебе корреспондентский билет, ему ни в чем не откажут, ты же наш сотрудник притом. Тогда ты будешь писать в «Русские ведомости», а мне поможешь для «Нового времени» в Нижнем на выставке.

Я отдал ему фотографии и недели через две получил билет и печатный список корреспондентов на коронацию, в котором значился и я корреспондентом «Нового времени». Кроме меня, в списке стояло еще четыре корреспондента этой газеты, а пятым сам А.С. Суворин. Мне там было делать нечего, я преспокойно работал для «Русских ведомостей», а благодаря марке «Нового времени» везде имел первое место.

Благодаря этому билету такими же правами я пользовался и на Всероссийской Нижегородской выставке, куда поехал с Амфитеатровым. Мне было поручено описать торжественное открытие выставки и протелеграфировать раньше всех, срочно, в «Новое время». Я занял опять-таки благодаря званию корреспондента «Нового времени» место рядом с трибуной, откуда открывавший выставку министр финансов С.Ю. Витте говорил программную речь. Я ее записал всю, от слова до слова, и, поручив дальнейшие речи другому корреспонденту «Нового времени», Прокофьеву, бросился на телеграф и дословно передал срочной телеграммой в «Новое время» всю речь Витте. В ней было больше тысячи слов. С телеграфа я вернулся в зал, где уже кончилось торжество, и встретил секретаря Витте, который роздал только что написанную на машинке речь министра всем корреспондентам, которые решили ввиду краткости времени речь эту телеграфировать только завтра.

Я сказал секретарю, что мною речь уже послана, и показал ему телеграфную квитанцию. Секретарь пришел в ужас.

– Да что вы сделали! Ведь здесь много изменений! Я об этом должен буду доложить министру. Получится разногласица. Я доложу министру!

– Это ваше дело. А я сделал то, что обязан был сделать корреспондент.

Вернувшись в свой номер, я сравнил записанную мной речь Витте с полученной от секретаря и нашел, что моя телеграмма несколько иная. Амфитеатрова в этот день я не видал и только на другой день рассказал ему об этом.

– И прекрасно, что послал! – одобрил Амфитеатров.

Оказывается, что он уже знает обо всем случившемся. Посланная мной телеграмма произвела целую бурю. Витте обозлился, администрация переволновалась, но нашла выход: сию же минуту приказали Северному телеграфному агентству послать речь Витте по всей России, во все газеты.

Я с нетерпением ждал прибытия газет из Петербурга. Действительно, оказалось, что речь Витте напечатана в газетах от Северного телеграфного агентства только в «Новом времени»; в агентских телеграммах значилось казенное сообщение об открытии, законченное словами: «Министр вошел на кафедру и произнес речь», а далее от редакции: «См. выше телеграмму нашего корреспондента». Телеграмма была напечатана моя, но, по всей вероятности, ее частью исправили по агентской. Впоследствии я за нее получил гонорар, но больше в «Новом времени» не писал. С выставки давал Амфитеатров «Нижегородские впечатления», а я занялся спортивным отделом

специально для редактируемого мной журнала «Спорт» и много времени проводил в городе на бегах, где готовился розыгрыш громадного бегового выставочного приза, которого мне, впрочем, не удалось дожидаться...

До 1917 года у меня хранились записки и впечатления о выставке, которые я готовил к отдельному изданию, но за обычной суетой так и не закончил. Помню, что эта начатая работа у меня носила заглавие «Нижегородское обалдение».

Огромный выставочный ресторан «Эрмитаж» с обширными террасами, уставленными сотнями богато сервированных столов, с полудня переполнялся завтракающими, обедающими и ужинающими... Шум, музыка в разных местах и время от времени оглушительный колокольный звон: это проба колоколов фирм, развесивших на звонницах свой товар. Московские заводы – Финляндского, Оловянищникова и Самгина привезли огромные и мелкие колокола. Звонари были артистами своего дела. Особенно отличался звонарь у Самгина, который вызванивал разные музыкальные мотивы.

Когда он разделявал на колоколах «камаринского», то слушатели так увлекались, что сами приплясывали. Под весь этот несмолкаемый шум хлопали в ресторане поминутно пробки шампанского, которое здесь лилось рекой.

Здесь пирует вся Москва. Публика Тестова, «Эрмитажа», «Праги» и «Яра». Даже сам Иван Иванович здесь в своем цилиндре, слегка набекрень, который он то и дело снимает, раскланиваясь направо и налево. За ним шествуют пять купеческих юнцов в смокингах и панамах. Судя по их физиономиям, он их ведет опохмеляться... Алексей Федорович, главный метрдотель, уже сервировал для богатых гостей стол и через минуту, почтительно склонившись, выслушивает заказ купеческого «арбитра элантиарум». Он пробует ароматный белорыбий балык, что на языке тает. На круглом розовом лице то же выражение, как у Лупетки 22 года назад под Главным домом...

Да разве один он здесь Лупетка! Среди экспонентов выставки, выбившихся из мальчишек сперва в приказчики, а потом в хозяева, их сколько угодно. В бытность свою мальчишками в Ножовой линии, на Глаголе и вообще в холодных лавках они стояли целый день на улице, зазывая покупателей, в жестокие морозы согревались стаканом сбитня или возней со сверстниками, а носы, уши и распухшие щеки блестели от гусиного сала, лоснившегося помороженными местами, на которых лупилась кожа. Вот за это и звали их «лупетками».

На декорированных стенах ресторана, как и во всех павильонах выставки, висели гербы Нижнего Новгорода, причем фигура герба – олень, выкрашенный в красную краску, – вызывала веселое настроение: уж в очень игривой позе этот олень был изображен живописцем. Амфитеатров, когда приглашал кого-нибудь в ресторан, всегда говорил:

– Пойдем под веселую козу!

А потом с его легкой руки это прозвание перешло и на всю выставку.

– Когда муж-то вернется? – спрашивают в Москве купчиху.

– А кто его знает! Под веселой козой загулял!

И действительно, здесь был разгул вовсю. Особенно отличались москвичи, бросавшие огромные деньги на дело и безделье: мануфактуристам устройство одних витрин, без товара, обошлось в четыре миллиона рублей.

«На витрины затрачено четыре миллиона. Сколько пропьют фабриканты?»

Эту задачу для детей младшего возраста можно было решить всякому, кто побывал под веселой козой в «Эрмитаже» и в других нижегородских местах разгула... Это был поток, который втягивал всякого мало-мальски известного человека. Вот почему у меня и явилось это название в моих пропавших записках – «Нижегородское обалдение».

В «Эрмитаже» на террасе был особый почетный стол, куда обыкновенные посетители не допускались. Сюда садились высшие чины администрации и некоторые приглашенные лица. Здесь всегда завтракали В.И. Ковалевский, М.И. Кази, писатель Д.В. Григорович, П.П. Семенов-Тяньшанский, адмирал Макаров, заведующие отделами и строители, Амфитеатров, который всегда затаскивал с собой и меня. Постоянным гостем был Савва Иванович Мамонтов, так гордившийся своим павильоном Севера, украшенным панно Врубеля, Константина Коровина и других корифеев живописи.

Из купечества за этим столом бывали только двое: первый Савва Морозов, кругленький купчик с калмыцкими глазами на лунообразном лице, коротко стриженный, в щегольском смокинге и белом галстуке, самый типичный цветок современной выставочной буржуазии, расцветший в теплицах капитализма на жирной земле, унавоженной скопидами дедами и отцами. Второй – представитель последних, в долгополом сюртуке, в сапогах бураками, подстриженный по-старинному в кружок, бодрый и могучий, несмотря на свои шестьдесят лет, – Н.А. Бугров, старообрядец, мукомол, считающийся в десятках миллионов. Мельницы Бугрова, пароходы Бугрова, леса Бугрова,

богачей, приют и даже в далеких Ессентуках санаторий для бедных – Бугрова и Мальцева, а в соседнем городке – бугровский поселок, где, как сказывали, более ста небольших однотипных домиков с огородами и садами. Поселок этот продолжал расти, и теперь, поддерживая пословицу: «Седина в бороду, а бес в ребро», и глядя на волжского богатыря Николая Александровича – его иначе не называли в городке, – смело можно было ожидать, что поселок удвоится, а население его утроится по меньшей мере... Проходит два-три месяца, смотришь – домик новый строится... Приезжает красавица-молодица со старушкой, в сарафанах или платьях с рядом пуговиц от ворота до подола, как в керженских или хвалынских скитах одеваются, как М.В. Нестеров красавиц заволжских на своих картинах кажет. Смотришь, года через два в садике под окошком молодичка расстегнула сарафан, младенца кормит, а старушка в темном сарафане другого нянчит...

Сюда Николай Александрович и наезжает отдыхать после трудов неусыпных. И никто его встречать не смеет – сам знает, к кому и когда ему зайти...

А в скитах какая-нибудь матушка Секлетия или Нимфодора выхаживает новую обитательницу поселка, которой уже домик строится, чтобы вовремя из скита переехать...

Сам я как-то не удосужился посетить город Гороховец, про который мне это рассказывали и знакомые нижегородцы и приятели москвичи, бывавшие там, но одного взгляда на богатыря Бугрова достаточно было, чтобы поверить, тем более зная его жизнь, в которой он был не человек, а правило! Вставал рано, ложился рано, соблюдал не только посты, а среды и пятницы. И не пил ничего, кроме одного стакана шампанского, которое только пригубливал для порядка, чтобы компанию не расстраивать или не обидеть тех, с кем за столом сидит. А за столом приходилось ему сидеть и с министрами, которым он, как и всем без исключения, тоже говорил «ты».

В голодный 1892 год приехал к нему сам министр финансов Вышнеградский дать огромный заказ на поставку хлеба. Сговорились, сторговались.

– Ладно, сделаю, – сказал Бугров.

– А сколько вам, Николай Александрович, позволите аванса на закупки дать?.. Тысяч сто? – спрашивает министр.

– Да что ты, ваше превосходительство, смеетесь надо мной, что ли?.. Аванца! Своими обойдемся, мелочишкой-то! Ты уж не беспокойся: сказал – сделаю.

Даже во время выставки на обеде, данном купечеством Витте,

Бугров и всесильный министр разговаривали при всех на «ты».

– Ладно, Сергей Юльич, уж будь без сумления, сделаю... – и они пожали друг другу руки.

А вот супругу Витте, знаменитую Матильду, он обидел – и все обошлось благополучно.

Надо сказать, что Бугров признавал только своих скитских простушек и не выносил важных дам, особенно благотворительниц, надоедавших с просьбами. Он их даже не удостоивал разговорами.

Как-то Бугров, вскоре после обеда Витте, сидел за почетным столом и посасывал по капельке «Аи». Он другого шампанского не признавал, а «Аи» называл «Ау» и вывел отсюда глагол: «аукнуть».

К столу подходит с портфелем в руках один из секретарей Витте и, сделав общий поклон, обращается к Бугрову, после целого потока извинений, что позволил себе не вовремя побеспокоить:

– Сейчас в кабинете его высокопревосходительства идет дамское заседание под председательством супруги министра по делу благотворительности. Ее высокопревосходительство просит вас пожаловать в заседание... Вас ждут, и мне приказано без вас не возвращаться... Я не могу вернуться без вас...

– Ну-к што ж. Хошь вертайся, хошь не вертайся, твое дело... А я не пойду... А коли вернешься, так скажи, что Николай Александрович сказал, что ему недосуг. Понял: ему не-до-суг.

И пошел по выставке анекдот: Бугров Матильду сукой назвал.

Савву Морозова Бугров здорово недолюбливал за его либеральные речи и как-то выразился среди друзей на своеобразном языке по поводу его высшего образования:

– Хвалится – ниверситет проходил! Проходил – по коридору скрозь! А что ежели жетоном хвалится, так это ему отец у профессырей выхлопотал!

Не любила Бугрова ресторанная прислуга – на чай гривенник по-старинному давал, а носильщики на вокзале и в Москве и в Нижнем, как увидят Бугрова выходящим из вагона, бегут от него – тоже больше гривенника за пудовый чемодан не дает!

Исключение насчет «на чай» прислуге он делал только за этим почетным столом, чтоб не отставать от других. Здесь каждый платил за себя, а Савва Морозов любил шиковать и наливал соседей шампанским. От него в этом не отставал и Савва Мамонтов. Мне как-то пришлось сидеть между ними. Я слушал с интересом рассказ Мамонтова о его Северном павильоне справа, а слева – Савва Морозов все подливал и подливал мне «Ау», так как Бугров сидел с ним рядом и его угощал Морозов.

Завтрак проходил; к концу является опоздавший Амфитеатров, глядит на меня и смеется.

– Гиляй, ты красней веселой козы, а глаза у тебя осовели!

– Видишь, – ответил я ему, показывая правой рукой на Мамонтова, а левой на Морозова, – как не осаветь!

– Вижу, справа Савва, слева Савва, тут осавеешь!

Начался этот завтрак шуткой, а кончился...

Когда-то мне отец сказал:

– Язык твой – враг твой, прежде ума твоего рыщет!

Впоследствии я не раз вспоминал эти его мудрые слова, а тут не до них было, под веселой козой!

Амфитеатров наскоро закусил и торопливо куда-то ушел, а мы продолжали сидеть и благодушествовать. Были незнакомые петербургские чиновники, был один из архитекторов, строивших выставку. Разговор как-то перекинулся на воспоминания о Ходынке, и, конечно, обратились ко мне, как очевидцу, так как все помнили мою статью в «Русских ведомостях».

– Ну, а какая причина катастрофы? – спросил кто-то.

А Савва мне все подливает.

– Одна из причин гибели такой массы народа – это Всероссийская выставка. Особенно вот это главное огромное железное здание!

Я указал на железный павильон.

– Ведь все эти железные павильоны остались от прежней Московской Всероссийской выставки на Ходынке. Вот их-то в Петербурге, экономии ради, и решили перевезти сюда, хотя, говоря по совести, и новые не обошлись бы дороже. А зато, если бы стояли эти здания на своих местах, так не было бы на Ходынке тех рвов и ям, которые даже заровнять не догадались устроители, а ведь в этих-то ямах и погибло больше всего народа.

И вижу я, что моя публика смутилась, а Савва Морозов даже бутылку шампанского отставил в другую сторону, хотя у меня фужер был пустой. Только один Бугров поддержал меня:

– А знаешь, ты это верно... Не сломай – несчастья не было бы.

Архитектор открыл рот, да так и остановился...

На мое или на их счастье, вдруг грянул оркестр и одновременно раздался колокольный «камаринский». Как-то перевели разговор на колокола, а потом стали расходиться.

– Николай Александрович, где вы сегодня вечером? Приходите в театр, – предлагает Бугрову Морозов.

– Чего я там не видал? Как голые девки через голых мужчин сигают?

В Москве Бугров бывал только в Большом театре.

Вот тут-то, смотря на чиновничьи форменные фуражки министерства финансов, я вспомнил слова моего отца.

Я всегда вспоминал эти слова не вовремя. Надо было бы их вспомнить и на другой день, на каком-то торжественном обеде, где я проговорил то, что было не по месту и не по времени, да еще пустил какой-то экспромт про очень высокопоставленную особу.

Дня через три после этого меня вызвали в Выставочный комитет и предложили мне командировку – отправиться по Волге, посетить редакции газет в Казани, в Самаре, в Симбирске и в Саратове и написать в газетах по статье о выставке, а потом предложили проехать на кавказские курорты и тоже написать в курортных газетах. Тут же мне вручили пакет, в котором было пятнадцать новеньких, номер за номером, радужных сторублевок, билет на шелковой материи от министерства путей сообщения на бесплатный проезд в первом классе по всей сети российских железных дорог до 1 января 1897 года и тут же на веленовой бумаге открытый лист от Комитета выставки, в котором просят «не отказать в содействии В.А. Гиляровскому, которому поручено озаботиться возможно широким распространением сведений о выставке».

Это было так «безапелляционно» предложено, что я положил в карман полученное и отправился к Амфитеатрову, но он внезапно уехал в Москву.

И опять вспомнил слова моего отца, когда ехал на пароходе вниз по матушке по Волге, но на этот раз я уже не сожалел о том, что на выставке забыл их.

Вначале выставка пустовала. Приезжих было мало, корреспонденты как столичных, так и провинциальных газет писали далеко не в пользу выставки и, главное, подчеркивали, что многое на ней не готово, что на самом деле было далеко не так. Выставка на ее 80 десятинах была так громадна и полна, что все готовое и заметно не было. Моя поездка по редакциям кое-что разъяснила мне, и газеты имели действительно огромное влияние на успех выставки.

Из Нижнего я выехал в первой половине июня на старом самолетском пароходе «Гоголь», где самое лучшее было – это жизнерадостный капитан парохода, старый волгарь Кутузов, знавший каждый кусок Волги и под водой и на суше как свою ладонь. Пассажиров во всех трех классах было масса. Многие из них ехали с выставки, но все, и бывшие, и не бывшие на выставке, ругались и критиковали. Лейтмотив был у всех:

– Открыли неготовую выставку.

– Что же не готово на выставке? – спросил я одного низового

купца.

– Мало ли что.

– Нет, что именно?

– Много еще чего не хвата-ат.

– Да вы подробно осмотрели все?

– Так, раза два заходил с приятелем... Панораму глядели, моржей ученых смотрели.

– А еще что?

– Минина – Пожарного видели... А потом в «Эрмитаж» зашли... Хотели еще вчера поглядеть, да не попали, в городе закантителались... Известно, дело наше хлебное, торговое – тот хорош, другой надобен... Да мы еще побываем на выставке, когда она вся сполна будет.

– Да как же вы можете говорить о выставке, когда вы, кроме «Эрмитажа» и моржей, ничего не видели?

– А в газетах-то пишут.

Я взял купца за руку, подвел его к вывешенному объявлению и показал красную строку. «Выставка вполне закончена». Выругал купец газетчиков и уверовал. Так и дома скажет. А таких купцов тысячи. Другие, оказывается, и совсем не были на выставке, а ругательски ругаются со слов газет и из желания хоть как-нибудь да поругать начальство, блеснуть перед слушателем смелостью и полиберальничать...

Такими же моськами оказались и многие корреспонденты и редакторы газет. Я переговорил со многими редакторами газет, которые мне пришлось посетить. Они охотнее печатали обличительные корреспонденции только потому, что обличительное читается лучше, показывает, что газета никого не боится, даже самого устроителя Витте всемогущего, которого все терпеть не могли.

– Любит, брат, это наша публика, – говорил мне один из приволжских редакторов, мой старый товарищ по Москве.

Другие редакторы обижались, что им прислали только по одному билету на выставку.

– Будь с нами полюбезнее выставка, мы бы ее поддержали... Вот мы и пишем, что она не готова, пусть почувствует.

– Да ведь это же неправда! А если я вам напишу совершенно противоположное?

– Это будет подрыв престижа газеты. Впрочем, дайте статью.

Я прошел в контору редакции и, заплатив девять рублей, сдал объявление о выставке, такое, какое вывешено было на пароходе и вывешивается всюду, а на другой день в редакцию сдал статью, от которой отказаться было нельзя: напечатанным объявлением о готовности выставки редактор сжег свои корабли.

В числе моих обязанностей было побывать попутно в городах у управляющих казенных палат и директоров Государственного банка с поручением им развесить объявление о выставке в учреждениях города. Мой открытый лист за подписью вице-президента выставки всеми любимого и уважаемого В.И. Ковалевского производил на них впечатление.

На пароходе «Гоголь» я познакомился с управляющим банка в Астрахани Швецовым, который весьма любезно принял для развешивания объявления и заметку в «Астраханском листке», чем дал мне возможность сэкономить неделю моей поездки. Из Царицына я поехал на Кавказ и на Дон. Я закончил мою поездку Кисловодском и потом уже в августе снова побывал на выставке, где был дружески встречен всеми: приезда Витте и всякого начальства тогда уже не ожидалось, публики было много.

О, какого мог бы разыграть я Хлестакова с этим билетом и открытым листом!

Министерский билет первого класса я скромно предъявлял контролю в вагоне и вводил в смущение железнодорожное начальство.

– Ваше превосходительство, пожалуйста, купе свободное есть.

Положительно, можно было зазнаться.

За кого они меня принимали, не знаю, но во всяком случае не за административно высланного газетного корреспондента.

Да и могли ли иначе выслать корреспондента «Нового времени», да еще такого неосторожного на язык в публичных местах!

Широко я попользовался этим билетом. Мотался всюду, по всей России, и на Кавказ, и в Донские степи, и в Крым, и опять на выставку приезжал, а зимой чуть не на каждую пятницу поэтов, собиравшихся у К.К. Случевского, ездил в Петербург из Москвы с курьерским. И за все это я был обязан встрече на улице с Амфитеатовым, который через три года дал мне еще более интересную работу.

В половине апреля 1899 года меня вызвал по телефону в Петербург А.В. Амфитеатров и предложил мне взять на себя обязанности корреспондента из Москвы и заведование московским отделением вновь выходящей большой газеты «Россия».

Совершенно неожиданно засверкала на газетном небосклоне эта

Беззаконная комета
Среди бесчисленных светил.

О самом появлении ее чуть не до самого дня выпуска и слышно ничего не было, и вдруг огромная, интересная газета, подписанная «Г.П. Сазонов – редактор-издатель». В газетном мире лицо совершенно неизвестное. Знали, что это ученый-экономист, человек, живущий своим трудом.

Но знали также, что фактический редактор и заведующий всем делом А.В. Амфитеатров и что на издание имеются огромные средства.

У Амфитеатрова никогда не было никаких средств. Был случай, что он вздумал держать театр, на который ухлопал несколько тысяч, и задолжал на много лет.

Помню я, что во время неудачной антрепризы я послал ему четверостишие, за которое даже он немного посердился.

Жаль, что ты Амфитеатров,
Жаль, что держишь ты театр...
Лучше был бы ты Театров
И ходил в амфитеатр!

Откуда деньги у газеты, я узнал случайно уже много после, когда в редакции Дорошевич познакомил меня с красивым, изящным брюнетом, одетым по последней моде.

– Матвей Осипович Альберт, наш издатель.

– Да мы уже давно знакомы, еще с выставки да и по Москве.

М.О. Альберт – я его знал в 1897 году директором Московского отделения немецкого Общества электрического освещения, где были пайщиками и крупные капиталисты, коренные москвичи. До выставки, говорят, он был служащим в

одном из предприятий Мамонтовых, потом как-то сразу выдвинулся и в Петербурге уже очутился во главе Общества Невского судостроительного завода, где пайщиками были тоже главным образом немцы. Этот самый Альберт, ничего общего не имевший до того с печатным делом и мало кому ведомый, выбросил на газету целый капитал.

И вот огромная, интересная газета вышла 28 апреля 1899 года, когда кипела подготовка к Пушкинским торжествам в Москве, где уже с 26 апреля начались в Малом театре пушкинские спектакли и заседания в ученых обществах.

Газету выпустили в день десятилетия смерти Щедрина, и в ней огромный, в полстраницы портрет его с автографом, стихотворением Елены Буланиной и избранных, не без риска получить для первого номера цензурную кару, две полосы незабвенных строк автора из его «забытых слов».

А дальше блестящая информация, повесть Авсеенка и ряд интересных статей.

Так и пошел номер за номером... В объявлении стояли имена заведующих отделами: финансовым, экономическим, земским и крестьянским – Г.П. Сазонов, литературным и политическим – А.В. Амфитеатров, научным – профессор П.И. Ковалевский и д-р И.Л. Янушкевич, музыкальным – И.Ф. Соловьев и Я.А. Рубинштейн, иностранным – Л.Ю. Гольштейн, театральным – Ю.Д. Беляев, московским – В.А. Гиляровский, провинциальным – фельетонист В.М. Дорошевич и общественным – А.В. Амфитеатров.

Московские известия я давал в редакцию по междугородному телефону к часу ночи, и моим единственным помощником был сербский студент Милан Михайлович Бойович, одновременно редактировавший журнал «Искры», приложение к «Русскому слову», и сотрудничавший в радикальной сербской газете «Одъек». Его честность и деловитость мне были необходимы, я на него мог положиться как на самого себя. Я был знаком с его семьей, жившей в Сербии: отец – учитель, сестра – учительница, мать и еще малолетние братья и сестры. Я с письмом Бойовича был у них в 1897 году, когда ездил в Белград, командированный Русским гимнастическим обществом, председателем которого я был, для участия на состязаниях, устраиваемых гимнастическим сербским обществом «Душан Сильный».

Во время моих отъездов из Москвы он заменял меня.

В газете помещалось много больших статей и фельетонов о Пушкине А. Фаресова, А. Зорина и др. Это было все ко времени, и

каждая строчка о Пушкине читалась с интересом. Газета в Москве шла хорошо.

26 мая вместо еженедельного иллюстрированного приложения к газете был выпущен огромный портрет Пушкина в красках. Потом много лет я видел его в рамках на стенах москвичей...

Кроме телефона, вещи менее срочные посылались почтой. Одна из таких моих корреспонденций, напечатанная за полной подписью, начиналась так:

«Я сейчас имел счастье целовать ту руку, которую целовал Александр Сергеевич Пушкин».

Да, это было так. Мне удалось узнать, что еще жива В.А. Нащокина и ютится где-то в подмосковном селе Всехсвятском. Я нашел ее на задворках, в полуразрушенном флигельке. Передо мной на ветхом кресле сидела ветхая, ветхая старушка, одна-одинешенька. Ее сын, уже с проседью, я видел его после на скачках в потрепанном виде, был без места и ушел в Москву, а его дети убежали играть.

Я всю беседу с ней описал тогда в «России», а теперь помню только, что она рассказывала о незабвенных вечерах. Пушкин всегда читал ей свои стихи, они сидели вдвоем, когда муж задерживался в Английском клубе.

Я рассказал ей о чествованиях Пушкина. Она как-то плохо восприняла это и только повторяла:

– Все Пушкин, все Пушкин!

Прощаясь, я поцеловал у нее руку, и она сказала, подняв на меня свои старческие глаза:

– Пушкин всегда мне руку целовал... Ах Пушкин, все Пушкин!

Я послал корреспонденцию в «Россию», а рассказ о Нащокиной – в Пушкинскую комиссию. Дряхлую старушку возили в одно из заседаний, чествовали и устроили ей пенсию.

Иногда приходилось добывать сведения, которые по цензурным, политическим и другим условиям московские газеты не печатали, но мне стесняться было нечего, и время от времени проскакивали сенсации.

В Москве существовала чайная фирма В-го, имевшая огромный оборот. Этого чаю в Москве почти не продавали, но он имел широкое распространение в западных и южных губерниях. Были города, особенно уездные, где другого чаю и достать нельзя было. Фирма рассылала по всем этим торговцам чай через своих комиссионеров, которые оставляли товар в кредит, делая огромную скидку, какой не могли делать крупнейшие московские

фирмы – Поповы, Перловы, Филипповы, Губкины.

Встречаю как-то на улице знакомого татарина, который рассказывает мне, что чайная фирма В. выписала из голодающих деревень Заволжья большую партию татар, которые за грошовое жалованье, ютятся с семьями в грязи и тесноте, работают по завертке чая. Они живут на своих частных квартирах, которые стали очагами заболевания сыпным тифом. Много их умерло, а живые продолжают работать, приходя из своих зараженных квартир рассыпать и завертывать чай. Я тотчас же отправился на их квартиры в переулках близ Грачевки и действительно нашел нечто ужасное: сырые, грязные помещения набиты татарскими семьями, где больные сыпным тифом, которых еще не успели отправить в больницу, лежат вместе со здоровыми... Говорил, спрашивал, выслушивал жалобы от всех, кто не боялся со мной говорить. Зашел в местный участок, где застал дежурного околоточного, который ровно ничего не знал об очаге сыпного тифа, так как это был не его околоток. Разыскал помощника пристава, но он мне ответил нехотя:

– Да, что-то такое я слышал, только я этим не заведую.

Я прямо отправился на междугородный телефон, вызвал Амфитеатрова, рассказал подробности и продиктовал заметку. Через день газета появилась в Москве. Это была сенсация. Ее перепечатали провинциальные газеты, а московские промолчали... От чая этой фирмы стали бояться заразиться сыпным тифом. Вечером ко мне приходили от фирмы, но меня не застали дома. На другой день явились два представителя ко мне, как к заведующему отделением «России», и начали требовать имя автора, грозя судом. Я их попросту выгнал. Но каким-то путем все-таки узнали, что автор заметки я. Часа через три явились два других франта, ласковые и заискивающие, совершенно просто и откровенно предложили мне крупную взятку, только чтобы я написал опровержение. Этих уж я так выгнал (жил в третьем этаже), что отбил навсегда охоту приходить с такими предложениями, и тотчас же вызвал Амфитеатрова, подробно рассказал о предложенной взятке и просил, чтобы редакция не печатала никаких опровержений, потому что известие верно и никто судиться не посмеет.

Шли дни. Разговор – по всей Москве, а в московских газетах ни строчки об этом ужасном факте. Ко мне зашел сотрудник одной газеты, человек весьма обделистый, и начал напевать о том, что я напрасно обидел фирму, что из провинции торговцы наотрез отказываются брать их чай и даже присылают его обратно. Он мне открыто предложил взять взятку наличными

деньгами и, кроме того, принять на несколько тысяч объявлений для газеты.

Амфитеатров по телефону передал мне, что его осаждают знакомые и незнакомые просьбами поместить опровержение и что тот самый сотрудник, который предложил мне взятку, был у него тоже и привозил деньги за объявления в газету, но редакция отказала наотрез печатать их. Между прочим, в числе ходатаев за фирму он назвал одного журналиста, сотрудничавшего в «Новостях» Нотовича. Незадолго перед этим этот журналист судился в Московском окружном суде за какое-то неважное дело и был оправдан. Председатель суда Е.Р. Ринк, известный остроумием, во время допроса обратился к нему:

– Подсудимый, мне помнится, несколько лет назад вы уже судились у нас... Это... Это было дело...

– На политической подкладке! – перебивает его подсудимый.

– А мне помнится, на лисьей. – Взрыв хохота в зале: многие помнили дело о какой-то комбинации с шубой.

В конце концов фирма щедро расплатилась с татарами, помогла пострадавшим, отправила семьи на родину и еще шире развила торговое дело, конечно, понеся стотысячные убытки первое время.

Главное, что меня порадовало, это то, что семьи татар были обеспечены.

Как-то утром ко мне явился мулла с депутацией от московских татар, благодарили меня, что заступился за несчастных голодающих, и поднесли мне благодарственный адрес с сотней подписей на русском и татарском языках.

Нечто о старом

Это было в декабре 1899 года, а ранее – в 1897 году – я был командирован Русским гимнастическим обществом в Сербию на всенародный гимнастический праздник, устраиваемый сербским обществом «Душан Сильный».

Приходится рассказать об этом празднике, хотя, по-видимому, трудно увязать репортерскую работу с гимнастикой!

А вышло так, что, не будь я гимнастом, не участвовать бы мне в нашумевшем на весь мир событии.

Сербия в это время, в 1897 году, была маленьким княжеством, населенным прекрасным трудящимся народом. Она управлялась после убийства князя Михаила Обреновича его племянником Миланом, вступившим на престол четырнадцатилетним с дурными пороками юношей.

С детства опекуны воспитывали Милана в Париже, где он не столько изучал науки, сколько веселился. Докняжив до 21 года, Милан задумал жениться, и ему подсватали бессарабскую красавицу с огромным состоянием, дочь русского полковника Наталью Кешко.

Милан рассчитывал на приданое, но умная Наталья удержала за собой право распоряжения своим состоянием, и Милан опустошал расходами на свой двор казначейство Сербии, которая после двух войн (1876 и 1877/78 годов) была в 1882 году из княжества провозглашена королевством, к великому неудовольствию народа, боявшегося увеличения налогов.

Налоги на содержание короля возросли, Наталья денег не давала, и Милан стал ее врагом. В королевстве образовались две партии – Милана и Натальи. Милан окончательно запутался в долгах и ухитрился заложить почти все свое королевство в австрийских банках.

Народное недовольство росло. Милан, запутанный банками, попал в зависимость Австрии, стал проводить ее политику.

Сербии грозило банкротство, и окончательно запутавшегося в долгах и интригах Милана заставили передать королевскую власть своему малолетнему сыну Александру и его регентам.

Милана «выслали» из пределов Сербии с обязательством не возвращаться до совершеннолетия сына и выдали ему миллион франков отступного.

Регенты выслали также и Наталью, но она скоро вернулась, завладела воспитанием сына и фактически стала королевой.

В это время я и попал в Сербию. Король Александр тогда не был еще женат на сербке Драге.

Первого июня начались торжества освящением знамени «Душана Сильного», а затем на площади крепости в присутствии тысяч народа начались гимнастические игры и состязания гимнастов, собравшихся со всех славянских земель.

Белградские соколы-душановцы, более пятисот человек, были в своей красивой форме, а провинциальные члены общества в своих национальных костюмах: сербы-магометане – в фесках, сербы-горцы – в коричневых грубого сукна куртках, с кинжалами и пистолетами за строчеными поясами. Было несколько арнаутов. Один, бывавший в Батуме и на Кавказе, говорил по-русски.

Мы с ним беседовали. Он звал меня поехать к нему в гости, в Албанию, куда европейцев в то время не пускали. Он обещал мне полную безопасность у себя в стране, где был каким-то старшиной, и дал свой адрес и адрес его земляка, жившего в Белграде, к которому я мог бы обратиться.

Самыми яркими были сремские горцы, обвешанные оружием, в шитых украинских рубахах, чумарках и бараньих папах, лихо сдвинутых на затылок.

Из-под папахи змеились длинные чубы, черневшие на бритых головах, у пожилых висели громадные усищи вниз – совсем наши запорожцы далеких времен!

Эти сремцы были потомками запорожцев, бежавших при Екатерине во время разгрома Сечи частью на Кубань, а частью в Турцию. Они заботливо хранили свои обычаи и одежды.

Славный был народ, молодец к молодцу, ходили неразлучно, кучкой, и все были прекрасные гимнасты.

Три дня продолжались состязания, заканчивавшиеся каждый день обедом участников состязания и загородными поездками на пароходе по Дунаю. Обеды сопровождались речами, от которых корчились австрийские сыщики.

На третий день раздавались награды лично королем, и когда первым было объявлено мое имя, имя русского, – а к русским тогда благоволили, – весь цирк, где происходило заседание, как один человек встал, и грянули «ура» и «живио».

Я получил первую награду – большую золотую медаль, меня окружили сербские женщины и подарили мне подарок: шитый золотом шарф.

Вечером в гостиницу Гранд-отель пришла депутация с приглашением меня, как получившего награду, на ужин.

Я оделся и вышел на улицу, где с факелами и знаменами меня встретили душановцы и, скрестив надо мной два знамени, повели меня среди толп народа на ужин.

На другой день я принадлежал самому себе и с двумя из новых друзей-душановцев гулял в крепостном саду.

Чудесный вид открывался с этой высокой, укрепленной горы старой турецкой крепости с ее подземными тюрьмами и бездонными колодцами, куда в старину бросали преступников.

Под нами сливались громадные реки: Дунай и Сава, и долго еще в общем русле бежали две полосы – голубая и желтая. Красота была поразительная, а за рекой виднелись мост в Землин, поля и сады Венгрии.

Удивительной красоты место, напоминающее откос в Нижнем Новгороде над слиянием Волги и Оки!

Мы гуляли с публикой по саду. Содержащиеся в казематах крепости каторжники также гуляли между публикой, позвякивая цепями, и никто не подходил к ним, никто не заговаривал с ними, зная, что этого нельзя, – таков закон.

Невдалеке от нас на садовой скамейке сидел часовой с ружьем в руках, кругом гуляла публика, кандальники работали в цветниках, а один из них самым спокойным манером намыливал лицо часовому, брал у него из рук бритву и брил его.

На другой день я выехал в Россию. На вокзале меня провожали с музыкой и почетным караулом.

Прошло два года. Я вел репортерскую работу, редактировал «Журнал спорта» по зимам, чуть ли не каждую пятницу выезжал в Петербург на «пятницы К.К. Случевского», где собирались литераторы, издававшие журнал «Словцо», который составлялся тут же на пятницах, и было много интересных, талантливых людей из литературного общества столицы, и по осени уезжал в южнорусские степи на Дон или Кавказ.

Больше всего в этих местах я метался из зимовника в зимовник задонских степей, ночуя иногда даже в грязных калмыцких кибитках.

Здесь я переживал далекое прошлое, объезжал, как простой табунщик, неуков, диких лошадей, прямо у табуна охотился в угон за волком с одной плетью. Бывало:

По курганам, по бурьянам
На укрючном маштаке
На табун лечу с арканом
В разгулявшейся руке...

Огромное количество материала давали мне мои поездки в южнорусские степи.

Репортерство бросило меня и в конский спорт.

В 1882 году редакция командировала меня дать отчет о

скачках, о которых тогда я и понятия не имел.

С первого же раза я был поражен и очарован красотой и резвостью скаковых лошадей. Во время моих поездок по задонским зимовникам еще почти не было чистокровных производителей, а только полукровные. Они и тогда поражали меня красотой и силой, но им далеко было до того, что я увидел на московском ипподроме.

Как журналист я имел право входа в трибуны, где перезнакомился со скаковым миром, встречался раза два с приезжавшими в дни больших призов гвардейскими ремонтерами, которым когда-то показывал лошадей на зимовнике.

Конечно, никому из них и на ум не могло прийти, что они разговаривают с табунщиком, которому в зимовниках давали рубли «на чай».

В это время на моих глазах расцвел на скачках тотализатор.

Знаменитый московский адвокат Ф.Н. Плевако в одной из своих защитительных речей на суде говорил: «Если строишь ипподром, рядом строй тюрьму».

И прав был Федор Никифорович!

После юбилейных пушкинских торжеств 1899 года меня вызвали на редакционное совещание в Петербург.

Первым в редакции меня встретил редактор-издатель П.А. Сазонов, торопившийся куда-то по делу.

– Очень рад, что приехали, идите, там ждут!

В редакторском кабинете я застал А.В. Амфитеатрова, В.М. Дорошевича и Яшу Рубинштейна, талантливого юношу, музыкального критика, сына Антона Рубинштейна.

Остальные участники совещания уже ушли.

А.В. Амфитеатров был главной силой в редакции, и его слово имело решающее значение.

После общих разговоров А.В. Амфитеатров сказал:

– Гиляй, нам для газеты позарез нужно сенсацию: вся надежда на тебя.

– Все, что интересного будет в Москве, не прозеваю!

– Нет, надо что-нибудь эффектное, крупное, Москвы нам мало!

– Вроде Стенли, открытия Африки, – пошутил Яша.

– Ладно, есть, – ответил я.

Вспомнился мне недавний разговор с сотрудником московских газет сербом М.М. Бойовичем. Он мне говорил, что хорошо бы объехать дикую Албанию, где нога европейца не бывала, а кто и попадал туда, то живым не возвращался.

– У моего отца, – говорил М.М. Бойович, – есть друг, албанец, которого он когда-то спас от смерти. Он предлагал отцу совершить это путешествие, обещался сопровождать его и вернуть живым домой. В Албании существует обычай, что если за своего спутника, кто, по местному выражению, «взят на бесу», то его не трогают.

При этом разговоре М.М. Бойовича я припомнил своего друга арнаута, приглашавшего меня к себе в гости в Албанию.

Об этом я рассказал А.В. Амфитеатрову и В.М. Дорошевичу, которые пришли в восторг от этого предложения, приказали мне выдать крупный аккредитив, так как предстояло купить оружие и лошадей.

На другой день я выехал в Москву, получил заграничный паспорт и через три дня отправился на Балканы.

В кармане у меня были письма в редакцию газеты «Одъек» и ее редакторам Пашичу и Протичу и к учителю М.М. Бойовичу от его сына литератора, студента Московского университета.

В Сербии в это время королем был безвольный юный Александр, но Милан вновь вернулся в Сербию и руководил им, фактически будучи королем.

Все помышления Милана сводились к тому, чтобы ликвидировать партию радикалов, мешавшую самовластию фактического короля.

Двадцать четвертого июня в Белграде на Милана было произведено покушение: неизвестный человек выпустил в него на главной улице четыре пули.

Подъезжая к Белграду, я узнал о только что совершившемся покушении на Милана, и уже на вокзале я почувствовал, что в городе что-то готовится на том вокзале, где два года назад меня торжественно встречали и провожали.

Свободно, независимо, с хорошим настроением, как и тогда, я вышел из вагона, ничего не подозревая, но мрачный полисмен-офицер внимательно взглянул на меня и с непреклонным видом потребовал паспорт. Это меня обозлило. Сразу почувствовалось другое настроение, совсем противоположное тому, какое было.

Ответив ему таким же взглядом, я сунул ему в руки паспорт и сказал:

– Прислать ко мне, в Гранд-отель, – и ушел.

Наступил вечер. Обычно оживленного Белграда нельзя было узнать: кафены и пиварни были закрыты, в домах не видно огня, на улицах никого – только блестели ружьями патрули.

Разузнав кое-что в гостинице, где меня встретили как старого знакомого, я вынул из чемодана письма, положил их в карман и, несмотря на просьбы прислуги не выходить, отправился к

Пашичу, к Стояну Протичу и в редакцию «Одъек». У квартиры Протица какой-то добрый человек мне ответил:

– Ухапшили.

«Одъек» оказался опечатанным, и все сотрудники были арестованы, так же как и редактор.

Зашел в пиварню «Империаль», где все столы были заняты полицией и офицерами. Никто из знакомых ко мне не подходил, все шушукались и дико на меня смотрели. А были знакомые лица.

Один из посетителей, когда я, расплатившись, выходил, отделился от группы и, козыряя, вкрадчиво спросил, шпионски:

– Куда путуете?

– В Тамбов, – ответил я, выходя, оставив его в позе вопросительного знака.

На другой день, не успев я еще встать, в номер вошли два приятеля-душановца и испуганным голосом советовали мне уехать, намекая, что Милану выгодно обвинить в участии в покушении кого-нибудь из русских.

Я расхохотался им в лицо – и после раскаялся. Они были правы: меньше риска было бы уехать в тот день, но тогда не стоило бы ехать – это позор для журналиста убежать от такого события.

Душановцы, сообщив, что у них сегодня общее собрание в «Империале», ушли, хотя я и просил их подождать, чтобы идти вместе в банкирскую контору Андреевича получить перевод.

Я понял потом, почему они торопились.

В конторе Андреевича я получал деньги, окруженный полицейскими офицерами. Один из них спросил меня, как это я, корреспондент, ухитрился так вовремя приехать к событию и за четыре дня до него перевести деньги. Я ответил ему довольно дерзко по-русски, и он больше ко мне не приставал.

Из банка я отправился на скупщину «Душана Сильного», где заседали человек двести. Меня выбрали почетным председателем.

От знакомых я узнал подробности покушения на Милана. Он около пяти часов вечера, в коляске со своим адъютантом, майором Лукичем, возвращался из главной канцелярии.

«Аттенатор», как называли покушавшегося на убийство, заметив приближающуюся коляску, махая бумагой, сложенной в виде прошения, подбежал и начал стрелять.

После первого выстрела Милан выскочил из коляски и начал ползать по мостовой, стараясь скрыться от пули, но последовал еще выстрел и ранил Милана сзади, слегка поцарапав кожу.

Пока Милан ползал и прятался за коляской, «аттенатор» ранил в руку Лукича, а сам, выстрелив себе в шею, бросился на

набережную реки Савы и прыгнул в воду, откуда был скоро извлечен и арестован.

Он оказался Джурой Княжевичем, которого Милан знал, когда он служил лакеем при купальне.

За месяц до покушения Княжевич уехал в Бухарест, пожил там, снова вернулся в Белград и стал жить в гостинице под видом приезжего купца.

Накануне совершения покушения Княжевич начал чистить старый револьвер, делать патроны и на следующий день произвел бутафорское покушение на короля. Милан организовал покушение, которое ему было необходимо как предлог для уничтожения радикалов. Когда кто-то из собравшихся предложил выразить сочувствие «королю Милану», я в резких выражениях отказался от звания председателя, и собрание скомкалось.

Многие похватили шляпы и быстро разошлись.

Около меня осталось только шестеро друзей, угостивших меня обедом, который был устроен в каком-то глухом саду, в старой беседке, куда собрались поодиночке.

Во время обеда мне сообщили имена десятков арестованных радикалов.

В городе была полная паника, люди боялись говорить друг с другом, ставни всех окон на улице были закрыты. По пустынным улицам ходили отряды солдат и тихо проезжали под конвоем кареты с завешенными окнами.

На мои вопросы по поводу «аттентатора» все молчали и только махали руками, чуть не зажимая рот.

Один прямо предупредил, что за такие слова расправа коротка – не посмотрят, что русский. Его слова подтверждали расклеенные всюду афиши, гласившие, что объявлено «ванредно станьо» – осадное положение.

Было бесконечно жаль видеть Белград, который так недавно я видел ликующим, в таком терроре. Мне было ясно, что Милан воспользуется обстоятельствами и сосчитается со своими противниками.

Я решил, может быть необдуманно, рискованно и – в первой попытке – неудачно, попробовать помочь в первую очередь арестовываемым радикалам.

В пиварне «Империяль» написал и отнес на телеграф телеграмму в «Россию», написанную по-русски французскими буквами, следующего содержания:

«Милан придумал искусственное покушение с целью погубить радикалов. Лучшие люди Сербии арестованы; ожидают казни, если не будет вмешательства держав».

Конечно, этим я сделал большую ошибку, о чем узнал уже

через час.

Моя телеграмма не была отправлена, и милановские сторонники такого человека, который может пустить по свету правдивое сообщение о событиях в Сербии, должны были ликвидировать.

У Милана расправа с такими людьми была короткая. На паспорте таких людей отмечалось, что владелец его выбыл из Сербии, а чемодан и паспорт бросали на вокзале, например, в Вене^[5].

Все эти белградские события происходили 27 июня.

Казематы крепости были переполнены «ухапшенными», из коих 37, с Пашичем, Протичем и Николичем, были приговорены («преким») судом Милана к тайной казни.

В ночь на 29 июня, Петров день, над Белградом был страшный тропический ливень с грозой. Я сидел у окна гостиничного номера и видел только одно поминутно открывающееся небо, которое бороздили зигзаги молний. Взрывы грома заглушали шум ливня.

Около полуночи ко мне в номер вошли два моих друга в полной военной форме.

– Идем, скорей, скорей! Иначе будет поздно! Сейчас за тобой придут. Скорей!

Подали мне пальто и шапку. Мы вышли, идем по коридору, вдруг я хватился своей табакерки – забыл ее на окне!

– Сейчас вернусь. Я забыл табакерку!

– Идем! Ты с ума сошел!

– Не оставляю табакерки! – крикнул я и побежал назад.

Друзья замерли на месте. Я вскоре вернулся, и мы вышли на улицу. Ливень лил стеной. Мы брели по тротуарам по колено в воде, а с середины улиц неслись бурные потоки.

Друзья только в эти минуты наперерыв, перебивая друг друга, рассказали, что мое счастье было в том, что я забыл табакерку. В те минуты, когда я за ней бегал, по коридору прошел военный обход, который арестовал бы меня, и утром я был бы уже удушен.

Мы спустились к Дунаю, и друзьям удалось устроить меня на венгерский пароход.

К утру погода прояснилась. Я лежал в каюте венгерского парохода и притворялся спящим.

Я слышал шаги многих людей на палубе, но тихо лежал в каюте и встал только когда пароход отошел от белградской пристани. Я поднялся на палубу. Восход был чудный. Я любовался удалявшимся от меня Белградом, зеленевшими садами.

Перед каждой сербской пристанью на правом берегу Дуная я уходил в каюту и запирался, опасаясь сербских сыщиков. Зато, когда пароход остановился на венгерской пристани Оршаве, я дал в газету «Россия» такую телеграмму:

«Оршава. 29 июня. В Белграде полное осадное положение. Установлен военно-полевой суд. Судьи назначаются Миланом Обреновичем. Лучшие, выдающиеся люди Сербии, закованные в кандалы, сидят в подземных темницах. Редакция радикальной газеты „Одбёк“, находящейся в оппозиции к Милану, закрыта. Все сотрудники и наборщики арестованы. Остальные газеты поют Милану хвалебные гимны. Если не последует постороннее вмешательство, – начнутся казни. В. Гиляровский».

Она была напечатана в «России» 30 июня за моей подписью, потому что в Петербурге имелись слухи о моем аресте. В том же номере газеты была напечатана телеграмма другого сербского корреспондента, сообщавшая о моем аресте.

«Базиас. 28 июня. В Белграде господствует полнейшая паника. Среди лиц, принадлежащих к радикальной партии, произведена масса арестов; в числе арестованных находится один русский корреспондент. Корреспонденция с заграницей становится невозможной, так как письма на почте перехватывают. Выехал из Белграда».

Эта телеграмма не печаталась «Россией» до получения известий от меня.

Моя телеграмма в газету через петербургскую цензуру попала в министерство иностранных дел, которое совместно с представителями других держав послало своих представителей на организованный Миланом суд. Этот суд должен был приговорить шестьдесят шесть обвиняемых вождей радикалов с Пашичем, Протичем и Николичем во главе к смертной казни.

Благодаря вмешательству держав был казнен только один, стрелявший, Княжевич, сторож при купальне, у которого с Миланом были свои счеты и которого Милан принес в жертву.

Остальные шестьдесят пять были сосланы в Пожаревацкую каторгу, где и были до убийства короля Александра и Драги.

Мои телеграммы с дороги печатались в «России», перепечатывались не только русскими, но и зарубежными газетами, вызывая полное презрение к Милану, которого вскоре изгнали из Сербии.

В Петербург я возвращался из-за границы через Москву.

Никогда не забыть мне первой встречи по возвращении: соскакиваю с пролетки – багажа у меня никакого, все осталось в пользу Милана в Белграде, равно как и паспорт у коменданта

Белграда, – отдаю извозчику деньги. Вдруг передо мной останавливается с выпученными глазами и удивленно раскрытым ртом М.М. Бойович:

– Ты, Гиляй!

– Здравствуй, Милаша! – ответил я, обнимая и целуя его.

Насилу пришел в себя М.М. Бойович. Радовался и плясал на лестнице. Оказывается, что он не считал уже меня в живых.

Утром он получил телеграмму из Землина от своего корреспондента, что я тайно казнен Миланом, и он торопился в Сербское подворье, чтобы заказать обо мне панихиду, перед этим зашел ко мне на дом, чтобы приготовить мою семью к известию о моей гибели.

Вечером я выехал в Петербург, радостно встреченный редакционными друзьями, сообщившими, что мои корреспонденции из Белграда перепечатываются газетами, а «Россия» увеличила свой тираж. Редакция чествовала меня обедом за газетный «бум», свергнувший короля. За обедом из рук в руки ходила моя табакерка, которой косвенно я был обязан спасением.

Благодаря положению редактора одного из спортивных журналов тех времен я работал несколько лет в Главном управлении государственного коннозаводства. Работа считалась почетной, и жалованья не полагалось.

При зачислении в Главное управление государственного коннозаводства я избрал себе степное коневодство и выговорил право не являться в канцелярию, а материалы, которые обязан был доставлять для казенного журнала «Коннозаводчество», присылал почтой.

Получив должность и звание «корреспондента Главного управления государственного коннозаводства», я имел право входа на все ипподромы и конские заводы, что мне как редактору «Журнала спорта» было очень полезно.

Во время этой работы я особенно счастливым чувствовал себя на Дону, хотя не забывал Заволжских степей, Кавказа и Крыма.

В Задонье, на зимовниках, я блаженствовал. Обыкновенно приезжал к управляющему казенным пунктом Гавриле Яковлевичу Политковскому, и от него уже уезжал в самые глухие калмыцкие Дербенты, причем брал с собой специально для калмыков корзину с разными лакомствами: булками, бубликами, леденцами и другой снедью.

Уезжал я обычно в зимовники на паре в легком экипаже, ехал не торопясь, имея всегда в тележке кулек бубликов или булок, и раздавал их встречным пешеходам.

Я на личном опыте хорошо знал, как дорого путнику в степи получить такой подарок; не раз я с завистью посматривал на проезжающих по степи, которые что-нибудь жевали.

Во время таких поездок мне приходилось встречать двух-трех человек, знакомых по моей бродяжной жизни. Но никому из них не приходило в голову, что я и есть бывший табунщик Леша!

В разговорах с ними я иногда показывал ловкость в работе арканом или выездке неуков, но все это они относили просто к моей ловкости и знанию конского дела.

Как-то с Г.Я. Политковским, знакомым еще по первым моим поездкам по зимовкам, заехали мы к лучшему коневоду Подкопаеву, которого я встречал, сравнительно еще молодым, у моего хозяина. Подкопаев был дружен с ним.

Тогда это был могучий, сухой богатырь – теперь же я встретил ожиревшего, но все еще могучего старика. Интересный человек был Подкопаев. Человек романтический!

Зимовник Подкопаева в очень давние времена принадлежал какому-то казачьему генералу, а потом перекуплен был старым коневодом, у которого была единственная дочь, донская красавица.

Явился как-то на зимовник молодой казак, Иван Подкопаев, нанялся в табунщики, оказался прекрасным наездником и вскоре стал первым помощником старика. Казак влюбился в хозяйскую дочь, а та в него. Мать, видя их взаимность, хотела их поженить, но гордый отец мечтал ее видеть непременно за офицером, и были приезжавшие ремонтеры, которые не прочь бы жениться на богатой коннозаводчице.

Отец раз и навсегда отказал простому казаку и удалил бы его от себя, если бы без него мог управлять зимовником.

Упорен был отец, но и дочь была в него: всем женихам отказывала.

Прошло десять лет терзаний двух влюбленных людей. Умер отец, и зимовник перешел к дочери. Только тогда, перестрадав десять лет, молодые поженились, и в память пережитых страданий Иван Николаевич Подкопаев, ставший владельцем зимовника, переименовал прежнее тавро.

Лошади с выжженным новым подкопаевским тавром очень ценились и на Дону и в кавалерии, и долго еще встречались на Дону лошади прекрасных форм с подкопаевским тавром: сердцем, пронзенным стрелой!

Не один раз заезжал я к Ивану Николаевичу: было что послушать от него, было чему поучиться по коннозаводскому делу. Не одну руководящую статью я написал с его слов!

Любил меня старик и жена его, могучая старуха, сохранившая былую красоту в сединах своих. Таких я видел только среди низового донского казачества, среди гребенцов, на Кубани, на Тереке в старые годы.

Я у него баловался с неуклами, но это его не удивляло: так будто и быть должно. Но ни одного слова, ни намек на прошлое я от него не слышал, хотя, рассказывая о донских коневодах, он не раз упоминал мне имя своего друга, бывшего моего хозяина.

Памятью о старике осталась у меня огромная, тяжелая, плетенная из сыромятного ремня нагайка, которую он мне подарил как любителю охоты «в угон» – этой старинной, давно забытой казачьей и калмыцкой охоты.

– Владей! Еще сам холостым ее сплел, с полсотни волчаков ею захлестал, когда помоложе был! Теперь только сколько годов она без нужды висит, владей!

Той же осенью я обновил ее в нагайских степях. В последний раз я виделся с И.Н. Подкопаевым в Ростове-на-Дону на конской выставке, в 1899 году.

Во время выставки, на другой день раздачи наград, проездом на Кавказ, от поезда до поезда, остановился, чтобы ее посетить, Владимир Иванович Ковалевский, мой старый знакомый по Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году. Он в это время занимал пост товарища министра финансов.

В.И. Ковалевский приехал на выставку без предупреждения, совершенно неожиданно, без всякой формы.

Я увидел В.И. Ковалевского уже окруженного толпой начальства, и городской голова Хмельницкий подошел ко мне, чтобы представить меня В.И. Ковалевскому, но этого делать не пришлось, так как, обрадовавшись встрече, мы обнялись и расцеловались. Пока происходил осмотр выставки, в павильоне был сервирован завтрак.

В это время в устьях Дона уже третий год усиленно велись работы по углублению донских гирл, чтобы морские суда могли идти прямо до Ростова, без перегрузки товаров на лодки.

Во время завтрака ростовский городской голова Хмельницкий обратился к В.И. Ковалевскому с просьбой отложить отъезд на сутки, чтобы сделать поездку на пароходу и осмотреть работы по углублению донских гирл, столь важные для развития торговли. В.И. Ковалевский отказался от этого предложения из-за срочной поездки на Кавказ, обещая обязательно заехать на обратном пути.

Забились во мне репортерские жилки! Какая славная корреспонденция для «России»: осмотр и описание донских гирл, о которых я так много слышал!

Я встал и обратился к В.И. Ковалевскому с просьбой не отказать в поездке, рассказав о красоте донских гирл, в которых никогда не бывал, рисуя их по астраханским камышам. В заключение опять попросил В.И. Ковалевского остаться на сутки в Ростове, чтобы повидать очень важные для развития русской торговли работы в гирлах.

В.И. Ковалевский, когда я закончил обращение к нему, улыбнулся и сказал:

– Уговорил меня Владимир Алексеевич! Едем в гирла!

По окончании завтрака условились, что поездка в гирла состоится на следующий день в десять часов утра на пароходе «Коцебу».

Владимир Иванович Ковалевский уехал к себе в служебный вагон, а я – в гостиницу, заняться корреспонденцией.

Часу в десятом вечера, окончив писать, я вышел в коридор, чтобы поразмяться, и, к великому своему удивлению, увидел, что как раз против моего номера отпирал дверь только что вернувшийся домой старик-коневода Василий Степанович, у которого когда-то, в дни скитаний и приключений моей молодости, я работал в зимовнике, заявив ему, что перед этим я служил в цирке при лошадях.

Проверять мои слова, конечно, никому не приходило в голову, а о паспорте в те времена и в тех местах вообще никто и не спрашивал, да он никому и не был нужен. Судили и ценили человека по работе, а не по бумагам. Молнией сверкнули в памяти дни, проведенные мною в зимовнике, и вся обстановка жизни в нем.

Был зимовник Василия Степановича полной чашей, всего в нем было вволю.

Хозяйство по дому зимовника вели жена Василия Степановича и его племянница лет шестнадцати, скромная, малограмотная девушка. Газет и журналов в доме, конечно, не получалось. Табунщики были калмыки, жившие кругом в своих кибитках, и несколько русских наездников из казаков.

Я понравился хозяевам и быстро подружился со всеми, щеголяя цирковыми приемами, и начал объезжать неуков и вести разговоры с приезжавшими офицерами, покупателями лошадей.

Все это ярко мгновенно вспомнилось, пока я следил, как Василий Степанович отпирал ключом свой гостиничный номер.

– Василий Степанович, откуда так поздно? – спросил я.

– У Ивана Николаевича Подкопаева был.

Старик оглянулся и узнал во мне одного из находившихся во время приезда на выставку В.И. Ковалевского людей, который был

представлен ему как корреспондент Главного управления государственного коннозаводства.

– Там у него все наши собрались.

– Жаль, что вы не представили свой молодняк на выставку, – сказал я. – Ведь, наверное, у вас еще сохранилось потомство рыжего Мирзы, что вы у Пловойского купили, из тех четырех, что из Перми привели?

– Да, да, от Мирзы! Он ведь только три года у меня пробыл, а какой богатый приплод оставил! Весь в себя, золотисто-рыжий! Он был настоящий карабах чистых арабских кровей.

– Я таких два косяка у Подкопаева видел!

– Тут, наверное, и от моего Мирзы были, я парочку бурлачков его приплода уступил Ивану Николаевичу, а он меня бурлачком Туриновским наградил.

– Орлово-растопчинский?

– Да, ну и лошадь! Всех детей в себя клеил. Все в гвардию пошли.

Старик, почуяв во мне знающего конские дела человека, пригласил зайти к нему в номер побеседовать на сон грядущий.

– Эх, Мирза, Мирза! Век не забуду! Давно это было, а он и сейчас передо мной, золотой весь, как лимон на солнышке, – сказал, когда мы вошли в номер и уселись в кресла, Василий Степанович.

– Да, давно это было, Василий Степанович, ровно двадцать пять лет! Ровнехонько!

Старик удивленно посмотрел на меня.

– Верно. В семьдесят четвертом я привел его! Знаменитость! Вот и вы слышали о нем!

– Н-да!

– Стало быть, вам кто-нибудь из ремонтеров-стариков сказывал. Им все любовались. Вы знаете хорошо наше дело! Никогда не думал, что у вас в Питере такие знатоки есть!

Я хлопнул старика по плечу:

– Ну, куме, запирай-ка свой номер, пойдем ко мне, поговорим по охоте!

Через минуту старик сидел у меня за столом, на котором стояло сантуринское и закуски.

Я сбросил надоевший за день коннозаводческий мундир и сидел в одной рубахе.

Разговаривали о выставке, о лошадях.

Я насилу уговорил, чтобы он звал меня по имени и отчеству.

– Вот вы бы ко мне на зимовничек пожаловали. У Подкопая вы бывали, он сам мне на выставке об этом говорил, а теперь бы ко мне завернуть. Есть что повидать!

Слушал я старика, а все одна думушка в голове: эх, была не была! Да и давай ему описывать его зимовник тех времен вплоть до обстановки комнат, погреба с вином, и даже о здоровье жены Анны Степановны спросил. С растущим удивлением он смотрел на меня и шевелил беззвучно губами – будто слово не выходило, а сказать что-то очень хотелось.

– Это вам кто-нибудь рассказывал, – вздохнув, сказал он, даже улыбнулся и сообщил, что Анна Степановна старая стала.

– Милый Василий Степанович! Послушай, что я тебе скажу, только дай мне слово, что обо всем, что услышишь, никогда никому не заикнешься. Я тебя люблю, считаю своим другом и буду с тобой откровенен.

Смотрю в его опять растерянное лицо.

– Так даешь слово молчать? Даешь?

– Даю! Вот перед образом божьим, вечно молчать буду!

Старик встал, набожно перекрестился и сел, уставившись на меня.

– Изволь. Это было ровно двадцать пять лет назад. В тот год, когда ты купил у Пловыйского Мирзу – одного из четырех жеребцов персидских.

– По-дружески мне, можно сказать, по охоте, генерал мне его уступил, так сказать, любя меня, – вставил старик.

– Купил ты Мирзу, а как вести на зимовник, не знаешь. Тогда ты один верхом на чалом в Великокняжескую приехал. Тебя тогда выручил Гаврило Руфыч! Помнишь?

– Как же, вахмистр... Кобылин, Гаврило Руфыч. Он мне своего малого дал, который с ним лошадь привел с Волги.

– Ну, а дальше что?

– Нанял я его за тройку. Боялся доверить малому, справится ли? А Кобылин говорит: «Ручаюсь за него, как за себя!» Молодчиной малый оказался: то шагом с моим чалым, а то наметом пустит. Я ему кричу, а он и не слушает. Разговорились дорогой, и малый мне понравился. Без места он в то время был. Я его к себе и принянял. Как родной он мне вскоре стал.

– Алешей его звали?

– Алешей, Алексей Ивановичем!

И старик опять с ошалелым лицом уставился на меня, ничего не соображая.

– Слушай же, Василий Степанович, да помни, что обещал наш разговор в тайне держать!

И я рассказал ему все подробности работы у него, напоминая каждую мелочь, вплоть до того, когда сбежал от него, испугавшись приехавшего за лошадьми жандармского полковника.

Что было с моим стариком, передать трудно: и слезы, и восклицания, и жесты удивления – то руками всплеснет, то по бедрам себя хлопнет, слушает и слова не проронит!

Я рассказал ему мою дальнейшую жизнь до последнего дня.

А что я пережил в это время – ни в сказке сказать ни пером описать.

Наконец старик со слезами опустил на колени, я тоже перед ним встал на колени, обнялись крепко, и оба расплакались.

– А Женя что? – спросил я, когда мы успокоились.

– Убивалась она очень, когда вы ушли! Весь зимовник прямо с ума сошел. Ездили по степи, спрашивали у всех. Полковнику другой же день обо всем рассказали, – а он в ответ: «Поглядите, не обокрал ли! Должно быть, из беглых!» Очень Женя убивалась! Вы ей портмонетик дорогой подарили, так она его на шее носила. Чуть что – в слезы, а потом женихи стали свататься, она всех отгоняла.

Через пять лет, двадцати годков уж вышла замуж. Приехал к нам на Дон сибирский посевищик богатый, производителей покупать для своих табунов, Ермилий Мефодьевич! Степенный, из себя красивый, лицо такое, как на иконах архангелов пишут. У Подкопаева и еще кое у кого лошадей купил, потом ко мне появился. Поехал с калмыком табуны осматривать, упал, да ногу и сломал. С месяц пролежал у меня, Женя за ним ухаживала, а потом замуж за него и вышла, в Сибири живут. Только детей у них нет, одна беда. Года три назад гостили у меня по осени. Вот поглядите!

Старик вынул из бумажника фотографию. В кресле сидит мужчина средних лет, гладко причесанный, елейного вида, с правильными чертами лица, окаймленного расчесанной волосок к волоску не широкой и не узкой бородой. Левая рука его покоится на двух книгах, на маленьком столике, правая держится за шейную часовую цепочку, сбегаящую по бархатному жилету под черным сюртуком.

Справа стоит стройная красавица, типичная низовая казачка, про которых поют:

Брови черные дугой,
Глаза с поволокой...

Она положила на его правое плечо руку – а в свесившейся кисти ее, на золотой цепочке, надетой на большой палец, маленький перламутровый портмоне, который я ей подарил тогда. На крышке портмоне накладка, рисунок которой слишком мелок, сразу я не рассмотрел, зато обратила мое внимание

брошка – сердце, пронзенное стрелой. То же самое было на портмоне.

– Еще до свадьбы, когда я две недели как-то по зиме жил в Ростове, она просила меня сделать его на портмоне. Потом брошку уж жених подарил, сердце из рубинов, а стрела бриллиантовая. Кроме никогда ничего не носит.

– Тавро Подкопаева? – спросил я.

– Может, и Подкопая, а может, и нет!

Расплакался старик.

При расставании Василий Степанович сказал, что если бы я не ушел тогда так внезапно, то зимовник был бы теперь мой, что его и Анны Степановны мечта была выдать Женю за меня замуж.

– Вот отчего она и убивалась и долго замуж не выходила – все ждала, и в последний раз, когда приезжала с Анной Степановной, они всплакнули о вас! Кому я теперь мой зимовник оставляю!

Утром, когда я после долгой ночной беседы отправился на пароход, номер Василия Степановича был пуст: он в семь утра уехал домой.

К девяти часам утра мы все собрались на пароходе «Коцебу». На обеденном столе кают-компания был разложен план гирл и чертежи построек, и как только двинулся пароход, заведующий гирловыми работами подробно объяснил В.И. Ковалевскому то, что нам надлежало осмотреть.

День был сырой. Туман окутал Дон. Около часу пришлось ждать разводки железнодорожного моста. Наконец пароход двинулся, но через час пути опять встал: туман сгустился до того, что далее следовать было нельзя.

Накрыли завтрак. Это, собственно говоря, был не завтрак, а ряд серьезных бесед присутствующих по всевозможным вопросам об образовании, торговле, промышленности.

В.И. Ковалевский задавал вопрос за вопросом, выслушивал ответы и закончил этот завтрак-конференцию вопросом:

– Почему у вас, в таком богатом торговом городе, нет высшего механического училища?

– Пробовали, хлопотали в Петербурге, но получили такой отказ, что и попечение отложили.

– Здесь все представители города в сборе, – сказал В.И. Ковалевский, – подавайте снова прошение, а я пошлю в Петербург телеграмму о необходимости в Ростове высшего учебного заведения и надеюсь на утвердительный ответ.

Министру финансов С.Ю. Витте была послана с гирл, с лоцмейстерского поста телеграмма, а мы в это время в тучах комаров и мошкары осматривали углубление канала, на котором

громадные машины «Петр Великий» и «Донские гирла» черпали грунт, который нагружался в шаланды и отвозился в море.

Потом мы посетили пост, на котором был отличный дом со службами, окруженный прекрасным садом, телеграф и метеорологическая станция, таможня для осмотра судов, идущих с рейда, отстоящего в четырех верстах от гирл, – и не встретили ни одного здорового человека из живущих на посту, расположенном на низком берегу, в вечном тумане, в самой лихорадочной местности. Здесь все были больны малярией.

Этой поездкой я закончил свою репортерскую работу в последний год столетия.

* * *

В Москве я через некоторое время получил приглашение присутствовать на торжестве закладки высшего технического училища в Ростове-на-Дону и дружеское письмо одного из членов комитета с таким заключением:

«...Непременно приезжайте, ждем Вас как одного, пожалуй, главного виновника предстоящего торжества. Не уговори Вы Владимира Ивановича поехать на гирла, никакого бы высшего училища у нас никогда не было».

Я был на спектакле в Малом театре. Первая от сцены ложа левого бенуара привлекала бинокли. В ней сидело четверо пожилых, степенного вида, бородатых мужчин в черных сюртуках. Какие-то богатые сибиряки... Но не они привлекали внимание публики, а женщина в соболевом палантине, только что вошедшая и занявшая свое место.

Величественная, стройная фигура, глаза, которые, раз увидав, – не забудешь, и здоровый румянец не знающего косметики, полного жизни, как выточенного, оливково-матового лица остановил на себе мое внимание.

Я сидел в третьем ряду кресел. Что-то незнакомое и вместе с тем знакомое было в ней. Она подняла руку, чтобы взять у соседа афишу. А на ней мой кошелек – перламутровый, на золотой цепочке! А на груди переливает красным блеском рубиновая брошка – сердце, пронзенное бриллиантовой стрелой...

С гордостью почти полвека носил я звание репортера – звание, которое у нас вообще не было в почете по разным причинам.

– Так, газетный репортеришко! – говорили некоторые чуть не с презрением, забывая, что репортером начинал свою деятельность Диккенс, не хотели думать, что знаменитый Стенли, открывший неизвестную глубь Африки, был репортером и открытие совершил по поручению газеты; репортерствовал В.М. Дорошевич, посетивший Сахалин, дав высокохудожественные, но репортерские описания страшного по тем временам острова.

В.М. Дорошевич разыскал на Сахалине невинно осужденного Тальму, поверил его рассказу и, вернувшись в Москву, первым делом поведал это мне и попросил съездить в Пензу, на место происшествия, и, когда я собрал ему сведения, подтверждающие невинность Тальмы, он в Петербурге, через печать устроил пересмотр дела.

Это было в 1898 году, когда он работал в газете «Россия».

Когда начался пересмотр, он послал сотрудника «России» Майкова в Пензу, снабдив его добытыми мною сведениями, а Тальма был вызван с Сахалина на новый суд. Майков следил за разбором дела и посылал в «Россию» из Пензы свои корреспонденции, в результате чего Тальма был оправдан.

Так же В.М. Дорошевич изучил дело осужденных братьев Скитских в Полтаве, добился через печать нового следствия, в результате которого было полное оправдание невинных. В обоих случаях он был репортером. А В.Г. Короленко? Многие и многие русские писатели отдавали репортажу много сил, внимания и находчивости.

Я бесконечно любил это дело и отдавался ему весь, часто не без риска. И никогда ни одно мое сообщение не было опровергнуто. Все было строгой, проверенной, чистой правдой. И если теперь я пишу эти строки, так только потому, что я – репортер – имею честь быть членом Союза советских писателей.

Лето 1934 года.

Картино

Примечания

Кроме них, на съезде находились Г.Е. Афанасьев, впоследствии сотрудник «Р.В.», с 1878 г. живший в провинции, и Зибер, сотрудник «Вестника Европы». – *Примеч. автора.*

Теперь, когда я уже написал эти строки, я рассказал это моему приятелю врачу-гомеопату, и он нисколько не удивился.

У нас во время холеры как предохранительное средство носили на шее медные пластинки. Это еще у Ганнемана есть.

М.Н. Катков.

Это стихи Шумахера. Они долго ходили по рукам, потом уже появились в «Искре». – *Примеч. автора.*

Это мне, прямо намекая на мое положение, рассказали два моих друга.